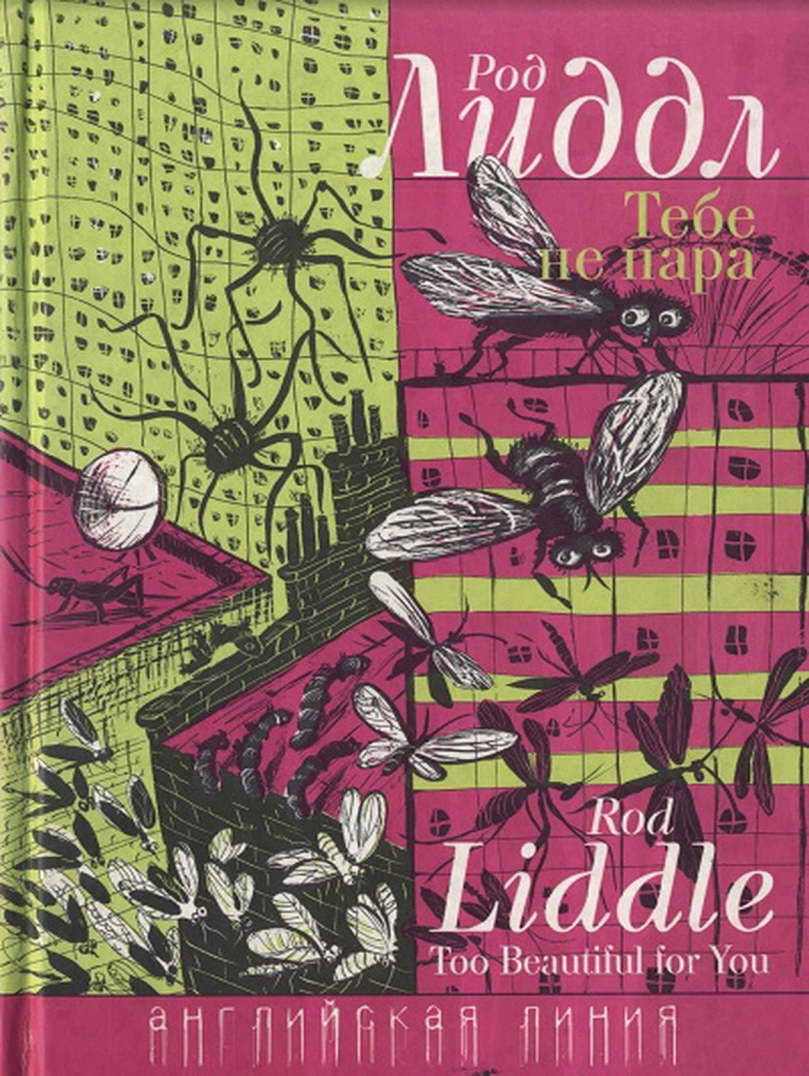
Род
Лиддл
Тебе не пара
Rod
Liddle
Too Beautiful for You
АНГЛИЙСКАЯ ЛИНИЯ

Тебе не пара

Род Лиддл

Аннотация
Род Лиддл. Тебе не пара. Сборник новелл
ОКНО
ТРИ СЕКУНДЫ
О ЧЕМ РАССКАЗАЛ ГРОМ
1. Белка
2. Придурок гребаный
3. Аллигатор
4. Девчонка из Леты
ДОЛГАЯ, ДОЛГАЯ ДОРОГА В ЮТТОКСЕТЕР
СВЕТИТ МЕСЯЦ
ВКУС «МАРМАЙТА»
ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ. (готический вариант)
ДЕНЬ СВ. МАРКА
РАДУ, БЛИН
БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
ПОТЕРЯННАЯ ЧЕСТЬ ЭНГИНА ХАССАНА

Аннотация

Первая книга известного английского журналиста и телеведущего Рода Лиддла, сборник новелл «Тебе не пара», была обречена на успех. Ее герои — пестрая компания молодых лондонцев, какую каждый вечер можно встретить в любом баре. Лиддл мастерски тасует колоду персонажей, не оставляя сомнений в том, что все эти зарисовки из сегодняшней жизни написаны с натуры. Сатирическая точность автора в немалой степени объясняется его близким знакомством с изнаночными сторонами работы крупнейших СМИ. В устах Лиддла, известного своими либеральными взглядами и постоянно находящегося в оппозиции к любому официозу, стёб над нынешней политкорректностью и ежевечерней лоботомией перед экраном звучит особенно остро. Профессиональная наблюдательность, остроумие и знаменитая ирония писателя, помноженные на его собственный опыт, образуют беспроигрышную комбинацию.

Род Лиддл
Тебе не пара
Сборник новелл

Рэчел, Тайлеру и собаке Дикой

ОКНО

Мэриан сидит, ссутулившись за своим компьютером, злая на весь свет; на настенных часах — тринадцать ноль-ноль. На работе почти никого не осталось, все разошлись по барам, пабам, забегаловкам-бутербродным — сидят там, плачутся друг другу на жизнь за австралийским шардоне и салатом с запеченным козьим сыром. Мэриан очень хочется туда, к ним: в желудке у нее бурчит от голода, сердце гложут жестокие обиды, которыми необходимо поделиться с самыми достойными. Вместо этого она должна торчать тут и ждать, пока придет рабочий чинить большое окно, то, что посередине, с плохо закрывающейся допотопной металлической фрамугой. В качестве временной полумеры раму наглухо заклинили с помощью тома *The International Who's Who* издания 1997 года.

Это торчание — обязанность ни за кем формально не закрепленная; у любого, за исключением, может, одного-двух менеджеров среднего звена, хватило бы интеллекта справиться с подобным заданием. Но Бэвинс, которую она сперва приняла за сбежавшую из больницы сумасшедшую

— настоящая душевнобольная, забрела сюда, похоже, в поисках пристанища, а в результате стала большой начальницей, — нервно спросила, не может ли Мэриан посидеть, и ушла, прежде чем та успела возразить.

Вот она теперь и сидит с ворчащим от злости — от праведного гнева — животом, а по радио тем временем сообщают о гибели 165 человек в Цюрихе, где самолет только что рухнул на многоквартирный дом. Под эти новости, под явное оживление в рядах коллег она размышляет о том, с каких это пор большая жизнь за окном стала казаться такой маленькой, потеряла всякий смысл, уступив место злобе. Она слышит, как люди несут чушь об Осаме и «Аль-Каиде», пытается представить себе приближение жуткого огненного шара, панику, и шум, и раскаленный смрад горящего авиатоплива, эти микросекунды слепого ужаса, но мысли постоянно возвращаются к рабочему с его инструментами в сумке и нарядами для подписи в трех экземплярах.

Когда она только пришла сюда работать, ей ужасно хотелось во всем участвовать, несмотря на советы коллег: смотри не увлекайся, атмосфера здесь — чистая отрава, прямо как на Меркурии каком-нибудь, сплошь и рядом мелочность, хам-

ство, старые счеты. Но она с упоением во все это окунулась. Теперь же, приезжая по утрам на работу, выходя на девятом этаже из еле ползущего лифта, она, бывает, с трудом удерживается на ногах: из-под каждой двери просачивается желчь, застарелая горечь.

Восемью этажами ниже Демпси, ссутулившись за своим компьютером, обдумывает оптимальный способ самоубийства. Под оптимальным он понимает такой, чтобы как минимум человек у семи, включая его подругу, его бывшую подругу, Люси, была возможность его остановить. Прошлой ночью он вернулся домой часа в три, не то в четыре. Ему в очередной раз было сказано, что между ними все кончено — длинное, слезливое объяснение; после его стошнило на дорожке перед собственным домом, а потом он долго, обиженно плакал на плече у жены. В общем, вид у него теперь порядком разбитый, все внутри онемело. Несмотря на гибель этих бедолаг в аэробусе «Гаруды», что, по идее, должно было бы его взволновать — плюс ко всему, эти маньяки, похоже, опять принялись за свое, а дальше-то что? — он ни на чем не может сосредоточиться. Помимо новых, по возможности эффективных способов убедить Люси в том, что, как бы то ни

было, но между ними еще все может сложиться, так сказать.

Или, по крайней мере, продлиться какое-то время.

В теперешнем его раздрызганном состоянии, при виде кадров с обугленными останками, которые там, на экране телевизора, холодным швейцарским утром отскребают от почерневшего бетона, ему, небритому горемыке, с похмелья приходит в голову: а может, с жизнью как-нибудь покончить.

Подумаешь, большое дело — покончить с собой из-за Люси. Не велика жертва, думает он, полный отвращения и жалости к самому себе, барабаня по клавиатуре в поисках обновленных сводок о числе пострадавших, натыкаясь на самые свежие апокалиптические разглагольствования. Он уже несколько лет как профнепригоден. Его должность, несмотря на впечатляющий (хоть ничего и не значащий) разряд, просто создана, что называется, во избежание любой деятельности. Пока они не начали встречаться с Люси, его акции в коллективе котировались довольно низко. Люси подействовала как некое суррогатное повышение по службе — это видно было по глазам коллег, когда их засекали вместе. Люди

как будто бы вновь стали воспринимать его всерьез. Или, по крайней мере, вполувсерьез. Еще бы: мужик, который трахает Люси Дау! Но теперь Люси порвала с ним, одиннадцать раз за последние два месяца, с каждым разом все более и более решительно. Демпси так больше не может, он исчерпал доступные ему аргументы, истратил последние запасы душевных сил, использовал все классические приемы, чтобы удержать ее, и вид у него сейчас растерзанный, раздавленный и нелепый. Черт возьми, самоубийство — выход далеко не худший, думает он.

Мэриан все воспринимают всерьез. Демократическая суть учреждения выражается, в частности, в том, что секретарш тут следует уважать не меньше, чем — как их там теперь называют — линейных менеджеров. Так что, когда принимают редакционные решения, коллеги делают вид, что чрезвычайно заинтересованы ее мнением; стоит ей открыть рот, все замолкают, а потом сразу: ага, спасибо, Мэриан, по-моему, это ценный вклад, в самом настоящем смысле слова. Вначале ей это было в новинку, будоражило. Теперь все по-другому. Теперь она говорит, ой, вы знаете, я как-то не особо разбираюсь в данном вопросе, или придумывает какую-нибудь другую, столь

же явную отговорку. Ей противно до крайности, когда они в натянутой тишине выслушивают ее мысли, противны кивающие головы и ободряющие улыбки, и это их «ага, спасибо, Мэриан».

Но поначалу это ее увлекало, ей искренне хотелось стать частичкой всего, что делали эти люди, она поражалась тому, как быстро они открыли ей свой мир. Внерабочая жизнь на работе била ключом, Мэриан и тут стремилась влиться в коллектив — с этим-то проблем вообще не было.

Мэриан снимает трубку и набирает номер хозчасти. «Алло. Да. Вы должны были прислать кого-нибудь починить окно. Комната 8106. Да, окно. Я сегодня утром звонила. Дважды».

Через секунду-другую женский голос спрашивает номер заявки. Мэриан находит его в своем блокноте для заметок и зачитывает в трубку, пытаясь простой декламацией цифр и букв передать охватившее ее чувство неукротимой ярости. Снова пауза, и женский голос говорит, что техник уже сто лет как должен был прийти, его направили полтора часа назад. Мэриан не повышает голоса, ровного, с примесью яда. Никого тут нет и не было, окно не починено, пришлите еще кого-нибудь. Сейчас же.

Мэриан думает: а что, если рабочий потерялся

в этом здании-городе с его трущобами, и окраинами, и темными проходами. Стоит свернуть не туда, и ты уже блуждаешь в каком-нибудь гетто бытового обслуживания или техобеспечения, в лабиринте малюсеньких комнат и забаррикадированных коридоров, набитых приборами, мигающими табло и громадными компьютерными терминалами. Или попадешь на целиком выпотрошенный этаж, предназначенный под офис открытой планировки, и стоишь там, думаешь: может, это вообще не то здание. В ночную смену Мэриан иногда бродит по этим широким, обшарпанным коридорам-артериям, где на фото в рамочках омерзительные знаменитости ухмыляются тебе из замогильного прошлого. Она неизменно сбивается с дороги, теряет чувство ориентации, испытывает приступы идиотской растерянности и агорафобии в этой громадине.

Тетка обещает снова связаться с техником и разобраться с проблемой. Мэриан вешает трубку. Вокруг нее люди в возбуждении долдонят что-то про аэробус и рассуждают насчет заявления «Аль-Каиды», потом говорят о погибших: сколько их, этих бедных-несчастных; а вдруг там и британцы были? А у Мэриан лишь одна забота — ее окно, отчего она чувствует себя мелочной, никому не

нужной. Раньше у нее не было подобного ощущения. Когда-то она потихоньку надеялась на повышение, на такую должность, где бы все ее действительно слушали. Не потому, что у них демократическая организация, где считаются с мнением любого, даже какой-нибудь гребаной секретарши, а потому, что иначе она могла бы наорать, вставить им всем как следует.

Но теперь повышение ей вряд ли грозит, если вообще не исключено: отчасти из-за того, что ее энтузиазм иссяк, отчасти из-за личных отношений с Джулианом и, как следствие, возможного конфликта интересов.

Подойдя к неисправному окну, она вглядывается в легкую пелену Лондона. Увидев самолет, приближающийся к Хитроу, кажется, почти на уровне глаз, она думает: а что, если он заложит вираж, развернется и возьмет курс на их здание. Вдруг сегодня такой день, когда все самолеты врезаются в многолюдные городские кварталы, Осама — не Осама, и как же это на самом деле хреново. Молодая продюсерша, симпатичная девушка с полукаре, пребывающая в затянувшемся пост-бененденском[1] восторге от мира, трогает

[1] Примечания: 1

Бененден — привилегированное среднее учебное заведение для девочек в Кенте. *(Здесь и далее прим. перев.).*

ее за плечо.

— Девица Мэриан, я пошла обедать. Тебе принести что-нибудь? Бутерброд там или что?

Мэриан отворачивается от окна.

— Нет, спасибо, Касси. Я тоже пойду, если будет с кем, вот только дождусь, пока этот раздолбай явится окно чинить.

— Твою мать! Его разве еще нет? — Она бросает взгляд на окно. — Кстати, Джулиан, по-моему, в «Нидлз» с Хлоей и еще с кем-то из наших, — добавляет она то ли по чудовищной наивности, то ли нарочно.

Мэриан ее спокойненько ставит на место.

— Кроме шуток? Ладно, постараюсь держаться подальше от «Нидлз». — С этими словами она отворачивается, чтобы заняться рабочим расписанием, лежавшим прежде нетронутым в ее папке для входящих.

С улыбкой замешательства Касси, несколько оскорбленная, идет обратно к своему экрану, рассеянно пробегает сообщения с последними новостями. Мэриан, по ее понятиям, тяжелый случай. Не вполне ясно, как себя вести с этой девахой, следует ли вообще упоминать Джулиана; их недолгий роман, или что у них там было, так и не получил, как говорится, официальной огласки.

Появившись в этой конторе, Мэриан первым делом стала искать квартиру в том же районе Лондона, что и у всех остальных, в таком как бы скошенном треугольнике с центром в Крауч-Энд. Но это ей было не по карману: квартиры, которые ей показывали, выглядели прямо как то место, где несколько лет продержали Терри Уэйта[2]. Так что она направилась вниз по шкале, на юг, и теперь у нее однокомнатная в Бёрмондси, хорошая квартирка с видом на Блю и на реку, а чуть поодаль — дымка Сити. Когда Джулиан впервые пришел к ней туда после отвальной вечеринки в честь озлобленного пьяницы, наконец согласившегося на досрочную пенсию, они трахались прямо на подоконнике в ее комнате, залитые мощным заревом замечательного футбольного поля ярдах в четырехстах через дорогу. Она боялась, что окно треснет, и вцепилась в занавески, и обхватила Джулиана ногами вокруг пояса — с тех пор ей ни разу не было так хорошо, как тогда, по пьяни. В тот вечер люди глядели, как они уходят вместе: отваливались челюсти, взлетали брови. Это было смело и откровенно, это заводило — так

[2] Примечания: 2

Терри Уэйт — представитель Англиканской церкви на Ближнем Востоке в 80-х, был взят в заложники в Бейруте, провел в одиночном заключении более четырех лет.

ей казалось.

Теперь он почти не бывает в Бёрмондси.

Тем временем Демпси набрался так, что едва стоит. У себя в ящике он нашел полбутылки «Столичной» и прикончил ее по мере того, как количество жертв в сводках все поднималось и поднималось, потом упало и наконец остановилось на 211. Напился, чтобы еще раз встретиться с Люси лицом к лицу, и протолкнулся в ее комнатушку с нетрезвыми слезами, выступившими еще до первых нечленораздельных слов:

— Давай поговорим, Люси. Ну хоть поговорим…

Люси с отвращением поворачивается в кресле.

— Ради бога, Мартин, *уходи отсюда.* Это же унизительно.

Это и *вправду* весьма унизительно. Офис открытой планировки, человек, может быть, на сто пятьдесят, репортеры размещены в маленьких, примыкающих друг к другу кабинках, спиной к основному отделу новостей. Коллеги Мартина и Люси могут увидеть — да что там, *видят* мужчину средних лет на коленях — *на коленях!* — за спиной у девчонки, вовсю клацающей по клавиатуре, как будто и не подозревающей (как же, как же) о его присутствии.

— Ну я тебя прошу, Люси, — хнычет он, — давай сходим пообедаем. Просто *пообедаем.* Дай мне поговорить с тобой.

Она раскручивается в кресле.

— Ты что, *не видел,* что произошло?

Он смотрит на монитор. Эти несчастные швейцарцы, это холодное утро.

— Ты что, не видел? — повторяет она.

Длинные светлые волосы захлестывают лицо, когда она сердится, в больших серых глазах — широких, глубоких, холодных — читается «пошел ты». Она ему не пара — слишком красива; он не понимает, как это все вообще могло между ними случиться. Какими бы глубокими нам ни казались наши отношения, думает он, последнее слово всегда за красотой.

Теперь она смотрит на него в упор.

— Не мешай мне работать. Над нами люди смеются — смеются, ты что, не понимаешь. Это просто идиотизм какой-то. Пожалуйста, Мартин, дай мне поработать. Иди лучше домой, к жене.

О господи, тут он начинает плакать всерьез. Ее бросает в жар от стыда и неловкости. Как меня угораздило, думает она; хоть бы это кончилось поскорее.

На слух заметно, как компьютерная деятель-

ность вокруг них поутихла: коллеги Мартина и Люси усиленно прислушиваются к их увлекательному разговору.

Вперившись в экран, она думает, может, пойти с ним пообедать, просто чтобы прекратить эту отвратительную сцену, но тут же представляет себе, как все то же самое повторяется снова и снова. Уже одна мысль об этом ей невыносима. Опустив взгляд полуприкрытых глаз на истертый серый казенный ковер, она включает голос на полную телевизионную мощность: ледяная дикторская скороговорка, приправленная суррейским акцентом.

— Ничего не выйдет, Мартин, уясни себе это раз и навсегда. Поразвлекся и хватит, отвали.

Прием этот как будто бы срабатывает. Он бесшумно поднимается, вытирая лицо тыльной стороной ладони, поворачивается и выходит из кабинки. Люси, крутнувшись назад к экрану, пытается сосредоточиться на мертвых швейцарцах и горящих зданиях, но за спиной опять раздается ох до чего же знакомый голос:

— С меня хватит, Люси. Так жить дальше невозможно. Живым ты меня больше не увидишь.

Ее тошнит от этой мелодрамы, от его эгоизма. Она смотрит по ТВ мини-репортаж о семье, где

четверо из пяти погибли в самолете, а оставшийся в живых семилетний мальчик ждет в аэропорту. Она видит непонимание на его лице, пропасть между осознанием того, что произошло, и оценкой того, что с ним теперь будет; видит суетящихся вокруг него напуганных дядю с тетей и жутковатых сотрудников службы доверия, уже неумолимо и зловеще приближающихся к нему.

Не поворачиваясь на этот раз, Люси отвечает:

— Да что ты? Это будет потеря мирового масштаба.

Да, он поразвлекся, тут она права на все сто. Ковыляя обратно в свой кабинет, побольше размером, но ненамного, он вспоминает свои ночные возвращения домой, к жене, под утро, часа в четыре, безмолвное раздевание в углу, трусы, а иногда и брюки, еще влажные от спермы (настоящий половой акт со введением Люси запрещала, это было как бы негласно обещано после его окончательного ухода от жены), ее вкус и запах, приставшие к его пальцам, и то, как он забирался в постель, чуть ли не вдвое сложившись от чувства вины и возбуждения. И то, как лежал там, не в состоянии заснуть, пока жена ворочалась и льнула к нему, давая почувствовать свое презрение и безнадежное желание. Конечно,

поразвлекся, и еще хочется. Как ему жить дальше без такого накала страстей?

Прямо перед дверью он сталкивается с продюсером, который шпарит, как ненормальный, обратно в отдел новостей. Молодой, аккуратно подстриженный шатен с безупречной кожей, в оттеняющих светло-серый пиджак очках. В спешке он не сразу замечает расхристанное, зареванное состояние Демпси.

— Это не Осама! Говорят, ошибка пилота, только что сообщили…

Демпси глядит на него, как на безумца.

— Какого еще пилота?

Лицо молодого человека моментально расплывается в ухмылке до ушей. Похлопывая Демпси по руке, он говорит:

— Ничего, Мартин, проехали, — и убегает по направлению к одной из студий.

Демпси вваливается к себе в дверь и тянется за «Столичной»; в бутылке пусто. Усевшись за компьютер, он пытается понять, с каких таких пор начались эти насмешки, когда это к нему впервые стали относиться с благодушным презрением и кто это дал такое указание. То, что поначалу нравилось в нем Люси — его возраст, жена и дети, его изначальная беззаботность, — все работает

теперь против него в этой загнивающей конторе, где полно молодых да ранних.

Он вспоминает про самолет. А-а, ну да. Ошибка пилота.

Нет, серьезно: ошибка пилота?

Рейс, направлявшийся в Денпасар, не смог даже из Цюриха выбраться. Рассчитанный на низкорослых, худощавых индонезийцев, бедняга самолет оказался битком набит откормленными, самодовольными швейцарскими курортниками. Они ехали в пекло Нуса Дуа или Санура объедаться венскими шницелями в деревянных ресторанчиках, белых от распыленного искусственного снега, где выряженные в идиотские кожаные штаны крошечные балийские официанты потчевали бы их гевюрцтраминером и рислингом. Ошибка пилота — вы что, серьезно? Ему слышно, как самолет, разбегаясь по взлетной полосе, стонет под своей ношей, борясь с одышкой, рывком взмывает вверх, а затем, оглянувшись на пассажиров, уже начинающих требовать выпивки и закусок, дважды сотрясается в судорогах. После первой швейцарских отдыхающих охватывает странное молчание и прошибает пот, хотя суть до них пока не доходит; вторая — сильнейшая, фатальная — швыряет Боинг-747 на три блока

изысканно прилизанных, предназначенных на съем квартир. *За все надо платить.*

Он думает про самолет, затем — про то, что надо бы броситься с крыши. Что тут такого? Четыре секунды нарастающего ужаса, руки вытянуты, как у Супермена или у Христа, а следом — микросекунда невообразимой боли. Микросекунда — и все. Переживет как-нибудь. А потом, после этого, ничего — абсолютно ничего. Ведь всем нам в конце концов в темноту.

Он отстукивает Люси короткое сообщение по электронной почте — то самое средство, что, собственно, и питало их отношения. «Я тебя любил», — набирает он и выходит из системы. Лучший за много лет из его оборотов в прошедшем времени.

Уже полтретьего, народ в основном вернулся с обеда, кроме, как замечает Мэриан, Джулиана и Хлои. Они, по-видимому, уютно обосновались в баре «Нидлз», в уголке за столиком. Вот так, вспоминает Мэриан, и завязываются романы, обычно еще до того, как их герои осознают, что это — начало. Обеденный перерыв затягивается, полуделовой разговор заходит все дальше и дальше, тебя, так и не успевшего ни в чем разобраться, сбивает с ног наповал, и тут уж держись

изо всех сил, а что еще остается. Мэриан нравится — точнее, нравилась — Хлоя, похожая на нее саму девушка из северной провинции, пока не особо освоившаяся в Лондоне и на работе. Джулиан между тем говорлив и откровенен, с этой своей непредсказуемой чувствительностью, которую он демонстрирует, как особый приемчик. Ох, как она запала! То был апофеоз ее вхождения в манящий круг. Он погладил ее по волосам, когда она шарила в кошельке, чтобы заплатить за выпивку. Только тогда она впервые поняла: кажется, что-то вот-вот должно произойти.

Последний раз он имел ее две недели назад в своем *pied à terre*[3] в Хайгейте, пока жена водила их маленькую дочку на очередного «Гарри Поттера». Весь визит длился не более получаса, а сплавили ее в такси минут через пять после начала случки. Ехать домой в SE16[4] было долго, неудобно и сыро.

Она снова звонит в хозчасть. Отвечает та же безмозглая тетка, между ними происходит тот же разговор, как если бы они, провалившись в ги-

---

[3] Примечания: 3

Pied à terre — городская квартира у людей, обычно живущих за городом.

[4] Примечания: 4

SE16 — район на юго-востоке Лондона.

гантскую черную дыру, попали в параллельную вселенную, состоящую из повторов и раздражения. Есть Мэриан расхотелось, а выпить пойти уже не с кем. Ее голод и злость слились в тягучую, свербящую боль. Двести человек там погибло — двести! Что такое со мной в последнее время, почему мне на все наплевать? Такие события — трагедии, как теперь принято говорить, — и те практически не волнуют.

В ожидании лифта Демпси стоит, как бездарный комедиант в роли сумасшедшего, слегка подрагивая в преддверии того, что ему предстоит совершить. Но лифт, как будто все поняв, ныряет мимо его этажа ниже, в подвал, а затем снова идет вверх не останавливаясь. Другой лифт сломан; на табличке, прилепленной изолентой к дверям, приносятся извинения за причиненные неудобства и сообщается добавочный номер, по которому следует обращаться за дальнейшей информацией или с предложениями и замечаниями. Вокруг Демпси собирается пестрая толпа сотрудников, среди которых есть и его знакомые, но он стоит поодаль, в стороне от них, тяжело дыша и уткнувшись взглядом в стену. Спустя примерно четверть часа среди ожидающих воцаряется эдакая нерабочая атмосфера: нечесаный

стажер и двое юных секретарш упражняются в остроумии на тему «а лифта все нет»; у двух-трех завотделами новостей, не по своей вине опаздывающих на летучку, развязываются языки. Ведутся злопыхательские разговоры о политических интригах в организации и целиком высосанные из пальца рассуждения об авиакатастрофе: знаете, эти азиатские авиакомпании, им как-то больше не доверяешь, с тех пор, как их экономика накрылась лет пять-шесть назад, уровень у них уже не тот, *за все надо платить.*

К тому времени, когда лифт наконец приходит, некоторые и думать о нем забыли, завязавши приятельские отношения, которые вполне могут перерасти в многолетнюю дружбу. Демпси вваливается внутрь и умоляюще смотрит на соседей, надеясь, что им удастся заметить в его глазах ужас смерти, до которой всего несколько мгновений, понять, что вот перед ними душа, ожидающая спасения. Но людям в лифте не по себе, они слегка отодвигаются от него. Похоже, думает он, они знают, что я собираюсь сделать, и, похоже, совершенно не возражают против такого варианта. На самом-то деле они, конечно, просто стараются держаться подальше от коллеги, который явно лыка не вяжет, хотя Демпси

чувствует себя до странного трезвым — необычное для него внутреннее состояние в последнее время. Выплюнутый лифтом на верхнем этаже, он несколько мгновений стоит в одиночестве, пытаясь отдышаться и угадать дорогу на крышу.

Мэриан опускает голову на клавиатуру. У нее постепенно складывается репутация склочницы, и с каждым днем ей все труднее рассеять это впечатление. Скандальная, с тяжелым характером, при этом — как видно из ее отношений с Джулианом — бестолковая и наивная. Теперь она постоянно срывает зло на людях, вот как только что с бедняжкой Касси, глупой, но безобидной. Она ненавидит себя за это, не зная, отчего так происходит. Почти три часа. Этот козел, рабочий, сейчас у нее получит по полной программе.

Где крыша, на хрен? Где эта чертова КРЫША? Казалось бы, крышу найти не проблема, прямо тут должна быть, на верхушке этого чертова здания. Демпси найти ее не может. Он недовольно бродит вдоль бесчисленных коридоров в поисках ускользающей лестницы, а при встрече с людьми умоляюще глядит на них: остановите меня!

Может, мне из окна выпрыгнуть, думает он. В смерти, как, впрочем, и в жизни, он слегка недотягивает до своего потолка, снижает полет — как

в фигуральном, так и в буквальном смысле. Плюс к тому, конечно, людям будет легче удержать его от самоубийства в соответствующей производственной обстановке.

Он снова идет по главному хребту-коридору и, чуть притормозив, чтобы набраться храбрости, поворачивает ручку двери перед собой. Двери под номером 8106.

Ну все, с Мэриан хватит. С нее *хватит*, плевать ей на все, сейчас ей просто хочется домой. Момент, когда ей начинает хотеться домой, с каждым днем наступает все раньше и раньше. Она думает: когда рабочий, скотина такая, явится, она дождется, пока он закончит, а потом просто уйдет под предлогом головной боли. Или, может, прямо сейчас уйти? Чего ей ждать? Придавлена к столу сломанным окном — да шло бы оно все знаете куда. Ну их всех на хрен: Бэвинс, Джулиана, Хлою, да, раз уж на то пошло, и Касси тоже. Она начинает мысленно готовить почву для ухода; ее тошнит от компьютерной стукотни, от происходящих вокруг важных дел — да от всего тошнит.

Тут дверь открывается, входит неопрятного вида мужик в рубашке с распахнутым воротом и смотрит на окна. Мэриан поворачивается взглянуть на него, ее губы кривятся в ухмылке. Да, да,

да. *Вот и он,* ублюдок.

Демпси стоит на пороге комнаты и озирается вокруг. Он видит людей, опустивших головы за работой. Видит окна, много окон. Чувствует, как что-то слегка ускоряется у него внутри: наверное, сердце, думает он, сердце в преддверии конца.

Все тут такие занятые, в этом офисе. Что-то слишком уж занятые; а на него кто внимание обратит? Кто протянет руку помощи?

О! Глядите! Вот и мое окно. Они для меня окно открытым оставили. Люси, ты слышишь? За все надо платить. За все надо платить. Подвал, где начинается пожар, аркан, затянутый вокруг захлебывающегося сердца, проступившая на легком тень, паленая резина на центральной полосе, самолет, слишком рано зашедший на посадку, резиновый шланг в машине, похожие на конфетки пилюли, заглатываемые целиком, черный краб, живьем засевший в кишках, внезапный удар, пуля снайпера, окно для утопающего.

Он еще раз осматривается по сторонам и видит прямо перед собой девушку, глядящую на него в ответ. *А-а, она знает.* Она смотрит на него, и он понимает: это наверняка и есть тот человек, который еще может вернуть его к жизни. Все мы связаны между собой непрочной пуповиной

человечности, которую иногда ошибочно принимаем за нечто сверхъестественное, порой даже экстрасенсорное — а это ведь просто любовь, взаимное притяжение душ.

И сейчас эта девушка, которую он никогда прежде не встречал, в последний момент готова стать его спасительницей: ее душа тянется к его в порыве любви.

Останови меня, останови меня. Он буравит ее глазами, расширенными от мольбы и благодарности.

Ее же глаза слегка сужаются; вытянув правую руку, она указывает на открытое окно.

— Ты что, подольше не мог? Третье слева, и давай в темпе.

Он безропотно подчиняется.

ТРИ СЕКУНДЫ

Софи ютится в трущобах SE14[5]. У кухни вид одичавший: тут тебе и синие навозные мухи, и полупустые коробки из-под еды, и гора заскорузлой надбитой посуды, и сваленные в кучу баночки из-под обезжиренного йогурта с продавленными алюминиевыми крышками, и уверенно хозяйничающие мыши, и любопытные коты. Софи туда больше не заходит. Да там и всегда было просто нечто вроде склада, еще до того, как отключили газ.

Гостиной у нее нет (там спит Бешамель), а в ванную лучше не соваться по двум причинам: во-первых, состояние унитаза, во-вторых, полное отсутствие горячей воды.

Поэтому она все время проводит в своей спальне на третьем этаже — в этом квадрате четыре на четыре. Там у нее обычно не поймешь, где кончается матрас и начинается линолеум: закиданная одеждой комната напоминает однотонное одеяло, сшитое из кусочков лайкры, шелка и хлопка. Каждый вечер она зарывается

---

[5] Примечания: 5
SE14 — бедный район на юго-востоке Лондона.

под груду пальто, одеял и месяцами не стиранных простыней, а бумбокс не выключает, чтобы приглушить несущийся с Нью-кросс-роуд шум.

Сон ее стерегут разные люди, знаменитые и не очень — Теренс Стэмп, Ленин, Эллиот Смит, Хоуп Сандовал, Алистер Кроули, Роза Люксембург. Кроме них, к бледно-желтым стенам прилеплены снимки Софи и ее новых друзей — где в обнимку, где в более смелых позах — и хитроумно сделанные черно-белые фотографии деревьев, стариков, заброшенных зданий, железнодорожных станций и Барселоны.

Лампочка перегорела недели две назад, поэтому читает она при свечах, таких здоровенных, белых; их сладковатый теплый душок, смешанный с застоявшимся косячным дымом, запахом грязных простыней и более крепкими ароматами «Malice» и «Loathing», создает в комнате возбуждающую, экзотическую атмосферу — и Софи счастлива в уверенности, что наконец-то попала, куда хотела.

Кожа ее приобрела прозрачно-ледянистый оттенок, глаза превратились в серые провалы, волосы отросли, от прежнего каре скоро и следа не останется. По пятницам, если вечером в городе нет ничего особенно интересного, она ездит до-

мой, в Лимингтон Спа, на своем любимом «жуке». Глядя, как она слишком резко заруливает во двор, ее родители безошибочно догадываются: сегодня она выглядит неизмеримо хуже, чем в прошлый раз. Догадываются они и о том, до какой степени их переживания выводят ее из себя. Бен, ее отец, дал ей двести тысяч на квартиру, небольшую, где-нибудь в Клэпэме, Кларкенуэлле, Фулэме или в пока еще, что называется, относительно приличной части Стокуэлла. Софи надо будет платить только за коммунальные услуги — так Бен упорно продолжает называть муниципальный налог. Но покупка жилья, весь этот омерзительный процесс, все это мещанство нагоняет на нее… это самое… *апатию* — ей сейчас просто совершенно не до того. Ой, не знаю, может, в будущем году, каждый раз говорит она своему отстойному папаше при встрече, все еще взвинченная, не успевшая отойти от фенамина, дороги за рулем и внезапного возвращения домой.

Рабочие дни она проводит в Юниверсити-колледже, погруженная в программу первого курса по социологии. Она столькому научилась за такое короткое время — все это ей прежде и в голову не приходило.

Не считая занятий в университете, она всяче-

ски расширяет свой кругозор, тянется ко всему, хватает все, что раньше ей было по той или иной причине недоступно. Она практически все на свете готова попробовать: «Ред бул», фенамин, анальный секс, супер-острые карри, лексотанил, минет, журнал «Ред пеппер», «Старопрамен», аборты, ямайские пирожки, кокаин, не мыться, футбольный клуб «Чарлтон», ночные автобусы, темные закоулки, оккультизм.

И людей она тоже много перепробовала: успела завести кучу друзей и переспать с кучей незнакомцев. Трахалась с четырьмя ребятами с общего курса по сравнительным социальным структурам, еще с двумя — с факультатива по социолингвистике для первокурсников. Трахалась с водопроводчиком, с вокалистом второразрядной инди-группы; трахалась с двумя наркодилерами, с хозяином бакалейной лавки и с доцентом — преподавателем этики. Трахалась с двумя соседями по квартире, Марком и Бешамелем; трахнулась с человеком, постучавшим в дверь спросить дорогу к метро (да прямо за мостиком, невозможно проскочить); а лучше всего у нее получилось трахнуть этого бедолагу из соседнего дома, потрепанного, издерганного, который считает, что американцы по секрету пытаются

отравить нас всех поташем; ей иногда слышно по ночам, как его вой разносится над крышами.

Она обожает район, где живет. Шум, грязь, чувство осязаемой угрозы, собаки с бешеными глазами, опасные дети. Ей тут все нравится: белые вроде бы ничего народ, живут себе худобедно, перебиваются, как могут, ну, а черные, она считает, вообще классные, они же настоящие дети природы, все-все берут от жизни сполна! И местные ее тоже любят, как свою. Нет, серьезно, они к ней со всей душой, как и она к ним — все симметрично. В лавке на углу для нее каждое утро держат наготове «Гардиан» и «Мальборо лайтс», и кто-нибудь из братьев пакистанцев за прилавком обязательно скажет ей, какая она сегодня красивая или усталая.

И хозяин дома, мистер Милошевич, ее тоже любит, хоть она и нечасто платит свои 90 фунтов в срок и заставляет его подолгу ждать на улице в двухцветном «форде-косуорте» модели 1989 года.

И в метро ее любят, и в 53-м ее любят, на верхнем этаже, в бесконечной трясучке, когда он еле ползет по дороге к Элефант-энд-касл; и в «Роще» ее любят, и в «Пещере отшельника», и в «Пяти колоколах», и в баре «Пасифик», и в «Трафальгаре».

И Пол ее любит, любит до потери пульса; и она

его тоже ужасно любит. Но *трахаться* с ним отказывается, так как это могло бы помешать развитию между ними гораздо более серьезных отношений, которые, разумеется, выше секса — да что там, попросту его исключают.

Пол, конечно, придерживается противоположных взглядов, что естественно при испытываемых им чувствах, но и ее точку зрения он, безусловно, готов понять. Он согласен с тем, что, когда спишь со всеми без исключения, отказ переспать с любимым человеком, наверное, и вправду свидетельствует о глубине чувств. Может, и так.

Все это настолько запутанно. Иногда, в минуты уныния, которые в последнее время все чаще его посещают, ему кажется, что он — единственный, с кем Софи успела перекинуться десятком слов и при этом не переспала. Но в то же время ему известно ее искреннее отношение к сексу, не допускающее двусмысленности, лишенное какого-либо чувства вины, так что размениваться на ругань тут бесполезно. И вообще, ей решать.

Сейчас они как раз у нее в спальне.

Пол неподвижно сидит напротив нее. Неподвижно сидеть — единственное, что ему остается, когда Софи уезжает на спидах. Лихорадочно, так что ее возбуждение передается и Полу, втерев

немного кислоты в розовые, еще не потерявшие здорового вида десны, она превращается в объект скорее для наблюдения, чем для каких-либо совместных действий. За ней просто не угнаться, она вся — комок неясных очертаний, сгусток нервной энергии, источающий электричество, потрескивающий, словно скачущий по экрану старого телевизора сигнал помехи.

Пинком отбросив какую-то старую одежду, она плюхается на коленки на образовавшемся пятачке зеленого линолеума, оглушительно тряся старинными серебряными амулетами и заношенными фенечками, болтающимися на ее тоненьких запястьях, затем резко, будто по приказу, вскакивает и выдергивает диск из своего небольшого стерео «Текникс». От «Black Rebel Motorcycle Club» ее уже *ну просто* тошнит, но другое слушать тоже неохота; она опять ставит тот же диск, и вот уже по комнате ударами молотка разносится «Spread your love», и она снова и снова трясет головой в такт тяжелому, непрошибаемому биту, а эти здоровые, мрачные, крутые американские ребята снова и снова взывают к ней, повторяя какой-то гортанный проигрыш, разобранный на косточки и вылизанный еще в 1974-м.

Потом, вскочив на ноги, она начинает рыться в инкрустированном деревянном ящичке на ветхом комоде в поисках ароматической палочки, а найдя, поджигает ее и ставит на подоконник. Запахи разогретого жасмина, нестиранной одежды и немытого тела, фенаминной кожи, грязного линолеума, давнишней травы, «Malice», «Loathing» и свечного воска плывут, вплетаясь в «spread your love like a fever, don't you ever come down».

Пол не видел ее две недели, целых две недели: она практически все это время отсиживалась у Доминика, в его квартирке в Белсайз-парк, но сегодня, проругавшись с Домом все утро, в слезах унеслась к метро. Пыталась ему звонить со своей «Нокии» раз, наверное, тридцать или сорок, но никто так и не ответил. В семь она набрала номер Пола и не столько пригласила его, сколько дала понять, что будет дома — на случай, если ему вдруг вздумается заскочить.

Эти две недели Пол был весь на взводе, мучался; они разговаривали трижды, каждый раз он звал ее встретиться, выпить где-нибудь, на что она отвечала, ага, ладно, ну, может, как-нибудь — и все. Встретиться с ней непросто, даже лучшему другу в лучшие времена. В Лимингтон она обычно уезжает в пятницу вечером; иногда, если

неохота в понедельник с утра идти на занятия, пропускает лекцию по эволюционной психологии и возвращается попозже, днем или даже во вторник утром, сгорая от нетерпения снова оказаться в Лондоне. Потом, по четвергам она иногда сваливает из Нью-Кросса на весь вечер, повидаться со старыми школьными друзьями и знакомыми родителей в квартире на Итон-сквер или на Фулэм-роуд, а то, бывает, они с девчонками — Бибой, чокнутой Эмили и бедняжкой Анной — собираются в районе Клэпэм-коммон. Она является на эти встречи запыхавшаяся — эдакая видавшая виды деваха из жутких, заброшенных юго-восточных кварталов — и всегда щеголяет каким-нибудь новым сувениром из той жизни: то пакетиком крэк-кокаина, то свежим синяком под глазом. В подобных случаях из нее так и прет «южна-лонданский» сленг. Присутствующие все как один тянутся к ней в душевном порыве, стремясь поддержать эту храбрую беженку, покинувшую благополучный SW10[6]. А дальше всех в своем душевном порыве дотянулся Доминик.

Когда Пол говорил с ней по коммунальному телефону у себя дома, в квартире, снятой в склад-

[6] Примечания: 6
SW10 — престижный район на юго-западе Лондона.

чину, его трясло от облегчения и возбуждения. Конечно, он подъедет. Вообще-то он планировал вечером опять пойти в Голдсмитс[7], поработать над скульптурной композицией, изображающей набережную в Ротерхайте (кроме пенопласта и разного хлама, он использует там настоящую речную грязь, черную и пахучую, которую держит в бочках у двери в ванную). А потом, может, выпить в студенческом баре, если удастся стрельнуть у кого-нибудь денег. Но эти неопределенные планы, всего лишь заполнявшие пустоту в ожидании Софи, испаряются без следа, стоит ему услышать ее голос.

Перед уходом он надевает свое лучшее белье (девственно-белые семейные трусы), занимает десятку у соседа по квартире Саймона и исполняет у окна спальни некий странный шаманский танец в надежде вызвать дождь. Он прекрасно понимает, что, если пойдет дождь, если на улице будет совсем противно и если он дотянет до того времени, когда последний 36-й уйдет на стоянку, в пещерообразный пекэмский автопарк, тогда Софи сжалится над ним и не отправит пешком назад в Камберуэлл-грин за две с половиной

[7] Примечания: 7

Голдсмитс — один из колледжей Лондонского университета, где изучают художественные специальности.

мили, и он сможет пристроиться рядом с ней под пальто и одеялами, переплетя свои ноги с ее, когда она начнет отплывать в беспокойное, прерывающееся забытье.

Да, так уже бывало…

И вот теперь он у нее. Она курит «Мальборо», одну за другой, расспрашивая Пола, все ли у него нормально, что он делал эти две недели и, самое главное, как продвигается работа. Он рассказывает ей о своей последней скульптуре и о том, как какой-то частный охранник вышвырнул его с территории этого здоровенного склада — там теперь многоквартирный дом — только за то, что он делал эскизы с натуры; рассказывает и об одном знакомом гее, об этом мрачном, похожем на привидение блондине из Кисли, у которого обнаружили СПИД и он перевелся на актерское отделение, чтобы, значит, лучше выразить свою жизнь в искусстве; а под самый конец он рассказывает ей о том, как скучал по ней — так сильно, что невозможно объяснить, а она принимает это признание, медленно покачивая головой и грустно, многозначительно улыбаясь.

Ухватившись за последнюю реплику Пола, она начинает исповедь о своих страданиях по Доминику, или Дому: о его собственнических

инстинктах и, более подробно, о всеобъемлющей страсти, об их одержимости друг другом вопреки — как она объясняет уже в сотый раз — огромной разнице, существующей между ними в социальном, политическом и экономическом плане. Как бы Полу ни хотелось заткнуть уши и ничего этого не слышать, он слушает, и тихонько останавливает ее, когда она собирается лизнуть еще кислоты, и сворачивает ей косяк из заначки в деревянном ящичке на комоде, а потом смотрит, как она потряхивает вперед-назад нечесаным подобием каре, глубоко затягиваясь голубоватым дымом, и с каждой затяжкой ее серые глаза делаются все мягче.

После долгой паузы она жалобно спрашивает: «Ну что я могу поделать?» Полу этот вопрос хорошо знаком; он отвечает, что поделать тут и правда ничего нельзя, можно только примириться с тем, что боль и несправедливость составляют самую суть ее высокого влечения. Таков немудреный диагноз Пола; она же, как всегда, кивает, словно ее отчитывают, и говорит, да, Пол, конечно, я понимаю, ты прав, я понимаю.

Некоторые ее слова и поступки вызывают у него сомнения. Несмотря на многократные заверения в дружбе, он начинает подозревать, что ей

плевать на него, но все-таки цепляется за ее слова о том, как она ценит их отношения — так паук цепляется за борт ванны, когда вода прибывает.

И она еще ждет, чтоб он упивался глубиной их с Домиником взаимной страсти и был за нее счастлив! Эта девчонка что, вообще ничего не понимает?

А иногда она ведет себя еще хуже, попросту жестоко: возьмет, например, и явится неожиданно на их тусовку в «Роще» в компании длинного, разукрашенного пирсингом хиппи, потом с ним же и уйдет, а у неподвижно застывшего на стуле Пола при этом глаза щиплет от унижения. В такие моменты он прямо-таки готов ее возненавидеть. Непонятно, что заставляет его сходить с ума по этой девушке с ее аффектированными манерами, дурацким наркоманским жаргоном и пустыми театральными жестами… Добавьте сюда, если уж на то пошло, и этот неслыханный интерес к собственной персоне, который он всякий раз при встрече сознательно и добровольно в ней поддерживает. И еще: как ей не стыдно покровительственно относиться к этим заброшенным трущобам, где она всего-то проводит дня четыре в неделю, не больше? И потом, ее ограниченные, разжиревшие бездельники-родители, с которы-

ми ему однажды дозволено было познакомиться — так, мимоходом. Она при них неоднократно говорила «твою мать» и многое другое, даже закинулась раз колесом, а эти двое, богатые, самодовольные идиоты, ни слова не сказали, только улыбались наподобие лоботомированного Будды. Приезжают раз в полтора месяца на «ауди» из этого, как его там, не то Ледбери, не то Лимингтона, не то Леоминстера (он как-то нашел его на карте), тут же тащат Софи в «Джозеф», «Агнес Б», «Харви Никс», а потом, бывает, ужинать в кафе «Ривер». А после едут обратно с четырьмя сумками, набитыми грязным бельем — как ни печально, надо признать, что с прачечной она пока еще толком не разобралась, и… и… ну, и так далее, и тому подобное. Он заводится не на шутку. Почему он не может все это прекратить? Уперся сам не знает зачем, думает про нее разные гадости — как же он докатился до такого?

Бывает, настроившись на более аналитический лад, когда между ними все хорошо — или хотя бы сравнительно хорошо, — он размышляет о своем безудержном влечении и зачастую никак не может его объяснить. Она ничуть не симпатичнее, не умнее и уж точно не привлекательнее целой сотни его знакомых девиц. И не первая, кто отка-

залась с ним спать. Порой он задается вопросом: имеет ли его любовь хоть какое-нибудь отношение к ней самой, разве она хоть в малейшей степени в ответе за его чувства — короче говоря, причем тут вообще она? Он решает, что сам все это придумал, а раз так, то гораздо лучше было бы выбрать более подходящий объект, например, одну из многочисленных девушек у него в колледже или Дебби, с которой они были в школе в Сандердлэнде — да кого угодно, хоть бы и эту толстуху в соседней булочной, где он каждый день покупает себе пирожки с сыром и луком, тетку со слюнявыми губами и проплешинами на голове, пусть даже и ее, почему бы нет. Какая разница?

Но он понимает, что не способен сейчас остановиться и будет добиваться Софи и дальше в постоянной надежде, что в конце концов пелена спадет у нее с глаз, в один прекрасный день она рухнет в его объятия, и это будет просто замечательно.

Проголодавшись к десяти, она не хочет оставаться одна. Тут у Пола голова начинает кружиться от любви, а приготовить поесть — совершенно исключено; в этой кухне никто больше не готовит. В результате Пол звонит в «Домино-пиццу», заказать среднего размера «Неаполитану»,

которую минут двадцать спустя привозит очаровательно-бестолковый русский паренек. Достав десятку и заплатив ему 7 фунтов 60 пенсов, Пол по настоянию Софи оставляет сдачу на чай. Сидя по-турецки на полу, они едят при помигивающих свечах, в их затхлом дыму. После двух-трех крошечных кусочков у Софи пропадает аппетит, и она лишь рассеянно выковыривает из своей половины пиццы маслины, а в лепешку вдавливает очередную «Мальборо». Он обожает ее безразличие к вещам вроде еды, эту небрежную неряшливость. Может, думает он, в этом ее привлекательность?

Затем на нее внезапно наваливается усталость, она чуть ли не засыпает прямо так, сидя на полу: снова очутилась в своей комнатке, изможденная, две недели на спидах и лексотаниле, да еще эта история с Домиником, все так неожиданно свалилось. Тогда Пол в приливе безрассудной смелости заявляет, что тоже устал, и предлагает улечься спать вдвоем. Софи без лишних слов соглашается, даже не заикнувшись о возвращении домой пешком, хотя ночь стоит погожая, ясная, а время еще довольно раннее, он может даже на 36-й успеть, если уйдет прямо сейчас. Но нет — она быстро раздевается перед ним и, оставшись в белой фут-

болке и стрингах, заползает под груду пальто и одеял, лежащих на старом матрасе, туда, где их слой толще всего.

У Пола от желания все плывет перед глазами. Дрожащими пальцами он тушит здоровенные белые свечи; горячий воск капает ему в ладонь и быстро там остывает, приятный на ощупь, гладкий и податливый. Пока она устраивается, он присаживается на корточки у окна, где лежит догоревшая палочка, и смотрит через затуманенное стекло вниз, на Нью-кросс-роуд.

Поток машин тянется далеко — ему не видно, докуда. На другой стороне улицы люди вываливаются из «Пяти колоколов» — там закрывают позже обычного — и бредут, покачиваясь, огибая рычащие машины, матюгаясь друг на друга, отбрехиваясь от сердитых водителей. Пол упивается этим моментом, этой дрожью в предвкушении их близости, и думает: как человек вообще может быть способен на подобное чувство? Непонятно, придет ли ему когда-нибудь конец.

Софи удается найти под одеялами в основном по запаху — прочие чувства слишком перегружены. Пряный остро-сладкий аромат ее духов «Malice» заглушает несвежий дух постели и одежды. Она лежит к нему спиной; он как можно

незаметнее проскальзывает к ней поближе и тихонько обвивает рукой ее талию. Еле дыша, он крепко зажмуривается, чтобы сполна насладиться этой минутой, этой близостью.

С членом у него, конечно, проблемы. Он бдительно следит, чтобы воздушная прослойка между его пахом и ее ягодицами не исчезла, но все равно уверен, что она чувствует жар эрекции — жжет нещадно, словно все его тело переплавилось в одну-единственную точку. Полный отвращения к происходящим с ним физическим явлениям, он лежит, свернувшись рядом с девушкой.

Одной рукой он мягко начинает поглаживать ее живот, смутно надеясь, что она не заметит этих легких круговых движений, а затем, по прошествии нескольких секунд, совсем осмелев, решается провести губами по ее плечу. Ни на что большее у него не хватает духу; через пару минут она в сонном раздражении отмахивается от него, и он в ужасе замирает.

Но жжение не проходит, заснуть никак не удается. Он ждет, не смея пошевелиться, а тем временем движение за окном утихает и в пропитавшейся темнотой комнате становится спокойнее. Ее радиобудильник, посвечивающий

красными цифрами с вершины горы учебников по социологии, показывает 12:45, когда он снова начинает целовать ее плечо и одним нерешительным пальцем поглаживать малюсенький участок кожи под хрупкими ребрами. Но тут где-то хлопает дверь, и она опять слегка отодвигается от него, что-то недовольно бормоча.

Он снова лежит, замерев, сна ни в одном глазу, его чуть подташнивает: тут и давящее тепло постели, и запах комнаты, и острота чувства — это жжение.

Может, просто схватить ее, притянуть к себе и поцеловать, раздумывает он. За столь недвусмысленные шаги его могут отослать домой, но зато хоть жжение уймется. Он все лежит, думая, что скоро наверняка лопнет, а стены комнаты все пляшут у него перед глазами. Да, похоже, он и вправду вот-вот лопнет — ему нужно, *необходимо* опять прикоснуться к ней.

Итак, он решается и, легонько-легонько приподняв ее футболку, проводит пальцами по спине в районе крестца, по тонким шелковистым волоскам там, внизу. Давление внутри все нарастает.

Теперь она не шевелится — слишком крепко заснула, так что можно, думает он, позволить себе эту роскошь. Снова осмелев, он придвигает

голову поближе к ней и ощущает мягкость ее волос на подушке.

Внезапно она поворачивается к нему лицом с неразборчивым возгласом, и он чувствует, что попался с поличным. Но на этот раз она не выказывает молчаливого неодобрения, а уверенно кладет одну руку на его, в то время как другая — и в это невозможно поверить до конца, это беспрецедентный случай, событие из ряда вон выходящее, его дыхание учащается, воздуха не хватает, сердце колотится — другая рука проскальзывает в разрез его лучших белых трусов и заученно-легкими движениями начинает *поглаживать его член.*

Затем, несколько более откровенно и решительно ухватив его, она принимается двигать рукой вверх-вниз; от этого Пол приходит в состояние, граничащее с приступом астмы. Он неотрывно смотрит на нее, но ее глаза закрыты, и тогда он, тоже крепко зажмурившись, зарывается головой в подушку, ловя воздух ртом.

Но вся эта совершенно невероятная сцена длится лишь три секунды, если придерживаться устаревшего, глубоко механистического мнения о линейной природе времени. По окончании этих трех секунд Пол со страшной силой извергает

из себя мощный поток спермы. По сути, семяизвержение как началось, так все продолжается и продолжается, этого добра там немерено, хлещет пинта за пинтой, он уже не знает, придет ли этому когда-нибудь конец. Софи, хулиганка, проводит ладонью по головке его члена (какой замечательный трюк, словно в тумане думает Пол, погрузившись в химическое забытье) и деликатно, но решительно выгибается всем телом, отстраняясь от него в попытке уклониться от этой струи, бьющей, словно напоказ, так долго, что Полу делается стыдно и не по себе: а вдруг с ним на самом деле что-то не так.

Когда в конце концов это все-таки прекращается, он открывает глаза взглянуть на нее и бормочет на последнем издыхании, используя запас воздуха, оставшийся в полном благодарности теле: «Я тебя люблю», — придвигаясь к ней поближе, чтобы поцеловать в губы.

Но она, чуть приподняв брови, лишь прикладывает к губам палец со словами «Ш-ш-ш… спи давай».

И он, оказывается, все-таки может, способен заснуть, хотя и лишен удовольствия лежать, уткнувшись в нее сзади, переплетя свои ноги с ее. Прильнув к противоположным краям матраса,

они оба стараются держаться подальше от широченного разлива семени посередине постели — от этой холодной гущи, которая так и не высохнет до его пробуждения утром. Странного рода изможденье окутывает его сны.

Он открывает глаза, готовый увидеть совсем иной мир, и пытается дотянуться до нее, ощупывая постель с бесцеремонностью, какой раньше никогда себе не позволял. Но она уже встала, черт ее знает когда, уже прихлебывает диет-колу из банки; на комоде — пустая обертка от кислоты. Присев в дальнем углу комнаты, она выбивает дробь на своей «Нокии», набирает чей-то номер и одновременно шарит в пачке «Лайтс». Приложив телефон к уху, зажигает пляшущими пальцами сигарету, бормочет «Ну, давай!» и раздраженно клацает зубами. Затем, швырнув телефон в сумку, вскакивает, продолжая глубоко затягиваться сигаретой, — явно агонизирует в попытках на что-то решиться. Все это время Пол с надеждой всматривается в нее из-под пальто и простыней. Он хочет найти слова, чтобы вернуть прошлую ночь с такой краткой и почти неправдоподобной развязкой, но, не придумав ничего, кроме «Я тебя люблю», произносит именно это в ожидании чего-то большего, нежели обычно. Но она словно

и не слышит его — стоит в коротком черном платьице из хлопка от «Копперуит Бланделл», неотрывно уставившись на что-то, находящееся за пределами комнаты, вдали от матраса, от Пола — еще дальше.

Он точно знает, о чем она думает, — но все равно не отступает, предлагает позавтракать в «Критерионе», небольшом кафе на полпути к нему домой, понимая, что на самом деле шансы тут нулевые.

Резко, словно с удивлением, взглянув на него, она качает головой: «Нет… мне идти надо, — и добавляет: — Дверь сам за собой закроешь, ладно?»

Но сама все не уходит, стоит перед ним, то включая, то выключая свою «Нокию», не веря сигналу на экране «Сообщений нет». Переводя взгляд на его лицо, она повторяет с бóльшим нажимом: «Пол, мне идти надо!»

Мир Пола соскальзывает обратно на более привычные рельсы, и все-таки остановиться он не может. «Ну конечно, я сам за собой закрою. Хочешь, попозже в „Роще“ встретимся?»

Он не может заставить себя выбраться из-под пальто и одеял, боясь в один момент окончательно потерять прошлую ночь. Ему кажется, что, если здесь остаться, эта ночь останется с ним

как свершившийся факт. А может, и с ней тоже. Он наблюдает, как голубой дым кольцами обвивается вокруг ее головы, сливаясь с сереньким дневным светом, заполнившим комнату.

— Не знаю, — говорит она, — позвони как-нибудь.

— Ты где будешь?

— Да не знаю я, правда не знаю. Короче, звони на мобильник. Слушай, мне правда идти надо.

Ох, этот мобильник. Орудие изощренных пыток. Когда он звонит ей на мобильный, раздаются несколько гудков — достаточно, по его представлениям, чтобы успеть проверить, кто звонит, — а потом телефон переключается в режим автоответчика. *Алло, это Софи. Я не могу сейчас говорить оставьте сообщение пока.*

Схватив черную кожаную сумку и изобразив нечто вроде воздушного поцелуя, она быстро выходит из комнаты, оставляя за собой клубы дыма, распространяющие запах «Loathing». Вчерашние символические трусики лежат сверху на «Текниксе», рядом с хромированной трубочкой губной помады. Пол слышит торопливые шаги на лестнице, затем — как открывается и захлопывается входная дверь. Он без всякой надежды обводит комнату взглядом. Ленин и все прочие

невозмутимо взирают на него в ответ. Непрекращающееся уличное движение на Нью-кросс-роуд подает признаки плохого настроения.

Зарывшись головой обратно в тряпки. Пол закрывает глаза. Он чувствует себя глубоко несчастным, и от этого ему страшно, страшно и стыдно, что он настолько уязвим. Изнутри, как при отравлении, поднимается волна тошноты.

Пока он лежит, ему приходит в голову, что и боль, и унижение последних двух недель, и бесконечное ожидание — все исчезло без следа за каких-нибудь три секунды. Вот и все, что на это потребовалось. От воспоминания об этих замечательных трех секундах он слегка вздрагивает и чувствует непроизвольный трепет между ног, весьма омерзительное возбуждение. Думая о том, почему она это сделала, он с запозданием понимает, что так ей было проще — самый простой способ спокойно поспать несколько часов без его надоедливых приставаний.

Как понимает и то, что, даже знай он о манипулятивной природе поступков Софи прошлой ночью, у него все равно не нашлось бы сил остановить ее, он позволил бы ей довести дело до конца, и конечный результат был бы точно такой же — река семени посередине постели, не

менее полноводная, чем если бы все произошло по любви.

Данная отталкивающая мысль еще глубже убеждает его: эта любовь не имеет никакого отношения лично к Софи, ее побуждения и чувства ни в малейшей степени не влияют на то, что чувствует он.

Наверное, он заснул, потому что ничего не помнит до того момента, когда в дверь неуверенно стучат и в комнату, высовываясь из-за косяка, заглядывает сосед Софи, Бешамель, с неприятным, как у карлика, личиком и странными острыми зубами. С ним Софи тоже спала, припоминает Пол. И не раз.

Увидев Пола одного в постели, Бешамель спрашивает:

— Софи видел?

— М-м-м… да, она ушла. Давно уже, кажется.

Пол проверяет время по будильнику Софи — десять тридцать.

Карлик, похоже, в панике.

— Ой, блин… а куда, не знаешь случайно?

Пока Пол размышляет над ответом, Бешамель возбужденно теребит дурацкий хвост у себя на голове.

— Да нет вообще-то…

— Как это — нет вообще-то?

— Ну, могла пойти в гости к приятелю в Белсайз-парк. Что-то она говорила… в общем, ничего определенного.

Бешамель в отчаянии барабанит по двери спальни.

— Блин, — повторяет он. — Тут опять электрики пришли. Деньги, типа, нужны. Иначе, говорят, отключат нас. Я поражаюсь, как им до сих пор такое разрешают!

— Господи, как же так. Может, на мобильный попробовать…

Бешамель издает тонкий безрадостный смешок.

— Ага, — говорит он, — на мобильник. Алло, это Софи, и так далее.

— А может, — предлагает Пол, — электриков попросить подождать немножко, пока она вернется из… ну, из этого самого.

Бешамель с мрачным видом трясет головой.

— Да нет, вряд ли, на этот раз не выйдет. Нет, серьезно: по-моему, они довольно решительно настроены. У тебя восемьдесят фунтов не найдется, а? Тебе потом Софи отдаст, это ее доля.

Пол отрицательно качает головой.

— Извини…

— Ну, тогда все. Я так понимаю, теперь дому точно капец. — Пожав плечами, Бешамель выходит из комнаты, прикрывая за собой дверь.

Пол по частям выволакивает себя из постели, таща за собой пальто и одеяла, чтобы сохранить остатки тепла, и принимает сидячее положение.

Незаметно для него самого тут, в этой спальне, его охватывает нечто похожее на решимость. Он чувствует раздражение, наверное, отчасти вызванное неумолимым монотонным движением на улице, постоянным, надоедливым рычанием, от которого он никак не может полностью отгородиться. Думая о прошлой ночи, он все еще напрягается помимо воли. Почему он неспособен контролировать свои эмоции, размышляет он. За этой мыслью приходит другая, о том, что, может, все как раз наоборот: он сам приучил себя трепетать и дрожать в обществе Софи, вымуштровал свое тело до такого состояния, заботясь при этом только о себе. Для него это было так же неизбежно, как учиться дышать, и угнетало до крайности.

Внизу слышны голоса, какое-то шевеление в прихожей: это электрики роются в кладовке в поисках счетчика. Отключить его — дело в наши дни нехитрое. Не то что с водой: там не обойтись

без долгих судебных разбирательств и прочих запутанных процедур, на которые требуется куча денег.

Пол слезает с матраса и подбирает с пола свою клетчатую рубашку. Рядом с тем местом, где она лежала, он замечает толстый фломастер, виднеющийся из-под пары черных леггинсов. Может, записку оставить, что-нибудь лаконичное, поражающее воображение, думает он, оглядывая комнату в поисках чего-нибудь, на чем можно писать. Непонятно, правда, что сказать. Она-то, в конце концов, чем виновата?

Тут он видит ее трусики, и в лихорадке накатившего возбуждения ему в голову приходит неплохая идея. Туго натянув белую ткань, он пишет на ней три слова: «Спасибо, что подрочила».

На какое-то мгновение у него возникает не слишком рыцарский вопрос: а догадается ли Софи, вернувшись домой, что это написано им, Полом. Потом он натягивает трусики сверху на стерео и начинает застегивать рубашку. Перекрывая шум уличного движения, из соседней комнаты до него доносится яростное тявканье: звук такой, словно разозлили собаку, но в этом прерывистом лае явно слышится нечто человеческое.

Снизу раздаются ликующие восклицания электриков. Присев, чтобы завязать шнурки, он натыкается взглядом на будильник Софи ровно в тот момент, когда красные цифры, померкнув, исчезают.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ ГРОМ
1. Белка

Розово-сиреневый закат над маленьким парком на Пекэм-рай-коммон, такой теплый и душистый, как будто лето еще не кончилось. У искусственного озерца дети швыряют камушки в канадских гусей, ловко целясь в белый полумесяц на шее у незваной птицы. Дети смеются, визжат, поздравляют друг друга с прямым попаданием; это происходит часто, поскольку канадские гуси, слишком жирные и ленивые, чтобы уворачиваться от снарядов, просто плавают на поверхности своего крошечного грязного океана и терпят боль, надменные и безразличные. В стороне от озера вдоль асфальтовых дорожек прогуливаются мамы с папами, прижимая к себе брошенные детьми мячики, куртки и свитера. Хотя пенсионеры, выстроившиеся вдоль лужайки для боулинга, и поеживаются, погода стоит удивительная, не по сезону, не по времени суток: душная, липкая теплынь пузырями поднимается из-под воды, с черного дна озера, тяжелым облаком свисает с лип. На улице октябрь, но, куда ни пойдешь, везде

все те же запахи: недавно подстриженная трава, потная мешанина, озерное мелководье и налипшая вокруг грязь, можжевельник, серная смесь, в которой садовники выращивают тюльпаны на будущий год. Можно и впрямь обмануться, решить, что лето еще не ушло. То там, то сям даже ласточки попадаются.

В крохотном просвете между кустами можжевельника и рододендронами — тоже своего рода закат. Здесь, под радужной листвой, Дениз на несколько заключительных секунд сосредоточилась на своем занятии — она отсасывает у Эдди. Ссутулилась так, что спину ломит, черные колготки продрались на коленках, кожа там стерта и в грязи. Однако она — воплощенное усердие: даже тут не забывает соскользнуть ртом до самого низа, одной рукой легонько прихватив его за мошонку. Все это не так-то просто, когда по плечам скребут ветки рододендрона, а чуть поодаль слышны крики и смех детей, словно что-то предвещающие.

Но в действительности она целиком поглощена этим актом, напоминающим благословение и молитву, для нее не существует ничего вокруг, только член Эдди во рту, да еще — зеленое солнечное мерцание, как-то странно, со смещением

проникающее через окружающие ее деревья. Эдди тоже на коленях; он предпочел бы стоять, но здесь слишком мало места. Стоя было бы гораздо лучше, особенно сейчас, когда он кончает с легчайшим содроганием бедер и глубоким выдохом. Это как писать в горку, думает он, выгнувшись назад в полусидячем положении. Он запрокидывает голову и, касаясь острых зеленых листьев, произносит имя: «Дениз…» — так тихо, что ей едва слышно. Позже ему становится непонятно, зачем он вообще это сказал. Кто же еще? Какой в этом смысл? Он что, думал, это не она?

Услышав свое имя и подняв взгляд, она, слегка поблескивая ртом, стряхивает с волос веточки, сглатывает и, схватив за плечи, притягивает его трясущееся тело к своему. Ей нравится ощущать эту густую, вязкую солоноватую жидкость у себя в горле, больше даже, чем мужское тело, напирающее на ее собственное; это можно принять за некую извращенность. Они обнимаются — по привычке и от изнеможения, в запоздалой попытке придать этому наспех организованному мероприятию некое подобие эмоциональной вовлеченности, а потом Дениз, разинув рот, резко отстраняется, напуганная каким-то шевелением в мягком зеленоватом сумраке всего в несколь-

ких дюймах от уха Эдди. Заметив ее внезапное беспокойство, Эдди в панике оборачивается, быстро застегивая ширинку. С нижней ветки липы на него в упор глядят два коричневых глаза. Эдди никак не может взять в толк, чего это они так необычно близко посажены.

Внезапно глаза исчезают; это сопровождается потусторонним шелестом и слабым колыханием воздуха рядом с их головами. Дениз облегченно смеется; «Пошла вон, белка».

Эдди не смеется — у него нет сил; полный отвращения, смущенный, он снова оседает, прислонившись к можжевеловому кусту. «Я уж думал, это…» — но тут его голос замирает, он трясет головой. Белка убежала, вместо нее перед ним стоит Дениз: на коленях, одна рука между ног, белая хлопчатобумажная юбка скомкана на бедрах. У Эдди возникает отталкивающее чувство. От запаха можжевеловых ягод, свежеразмазанной грязи, ее кофейного дыхания и сладких цитрусовых духов его обволакивает тонкая пленка тошноты. «Пошли лучше. А то Джули…»

Он снова не может закончить предложение. С трудом поднявшись, он склоняется над ней и отряхивает грязь со своих черных брюк. Потом закрывает глаза и пытается на долю секунды

представить, что ее здесь нет.

Откуда-то с юга, из-за Бекенэма, доносится низкий, глухой рокот грома.

Эдди трясет головой, пытаясь найти нужные слова.

— Бред какой-то, — неуверенно говорит он, наблюдая за тем, как она в задумчивости гладит себя, а тем временем зеленый солнечный свет вокруг них меркнет до темной охры.

Она вытаскивает руку, одергивает юбку, произносит с издевкой, сделав большие глаза:

— Ну конечно, только что ж тебе три минуты назад это в голову не пришло? Остановил бы меня.

— Чего тут непонятного — не смог бы, даже если бы захотел. Говорю же, бред.

— И кто же это, интересно, бредит?

Эдди качает головой.

— Не знаю, — он улыбается. — Бред, и все.

— Да нет, Эдди, это всего лишь минет. С тобой и раньше такое случалось, причем не раз.

Дениз раздраженно шмыгает носом и похлопывает себя по заду, отряхиваясь от веточек и запекшейся грязи, слегка откинувшись на тонкие, благоухающие побеги можжевельника. Промелькнувший по ее лицу последний сол-

нечный луч напоминает медленную, далекую вспышку молнии. Она наклоняется вперед и целует его шею; под ее губами мускулы Эдди коченеют в сопротивлении.

— Ну ладно, — говорит она ему злодейским театральным шепотом, — посмотрим, удалось ли твоей женушке найти ларек с мороженым.

2. Придурок гребаный

Они пробираются через кусты, перешагивают через низкую бревенчатую изгородь и вместе идут к входу в парк мимо лужайки для боулинга; розово-сиреневое небо над ними делается все темнее.

Он думает о том, как кончил ей в рот, и недоумевает, почему ему неизменно хочется кончать именно туда. Подумаешь, рот как рот, в конце концов. Но когда она нагнулась расстегнуть ему ширинку, там, в этом странном зеленоватом солнечном свете, — даже тогда ему пришлось сдерживать себя, такого с ним не бывало лет с семнадцати. Объяснить, с чего это, откуда такая одержимость, такая неукротимая сила, он не в состоянии.

Он чувствует себя дураком и слюнтяем из-за

того, что назвал происходящее между ними бредом: язык развязался от семяизвержения, как у пьяного. Рядом с ней он почти всегда кажется себе идиотом, словно у нее есть какие-то неопределенные преимущества перед ним. Нет для этого никаких причин, думает он.

Пожилой паре — оба закутаны в толстые пальто от какого-то мнимого холода, у мужчины под носом красуется странная, поражающая воображение растительность, делающая его похожим не на человека, а на жалкую карикатуру, — видно, как Эдди и Дениз вылезают из кустов. Но они никак не реагируют, даже неодобрения или беспокойства не проявляют, а только продолжают медленно идти по направлению к озеру.

Джули осталась купить всем троим мороженого, пока Эдди с Дениз ходили к озеру — по выражению Эдди, «поглядеть на новые шпалеры для роз». Эдди издали рассматривает жену: сидит на зеленой скамейке прямо рядом с «Мистером Уиппи», просто сидит себе и ждет с этим вечно озабоченным выражением на лице, а из тающих рожков ей течет на запястья. Просьба купить мороженого была глупой — ясно ведь, что для отвода глаз, думает Эдди. Правда, теперь, спустя два месяца после начала их романа, любой предлог

выглядит столь же очевидным и смехотворным, и тем не менее проходит, не вызывая ни малейшей тени подозрения у пострадавшей стороны.

Джули поднимает глаза и ухмыляется при их приближении, пытаясь отмести рукой прядь светло-каштановых волос, когда легкий ветерок ерошит деревья позади нее. Она протягивает им два мороженых, от которых ей не терпится избавиться; при виде густой ярко-желтой массы — замороженного химического крема — у Эдди в желудке начинается шевеление, от которого все его чувства сливаются в одно, образуя тонкую пленку тошноты.

— Вы чего так долго, — кричит она, — держите скорее, а то течет везде… — и встает им навстречу.

С преувеличенными изъявлениями благодарности они берут у нее рожки и все вместе идут по асфальтированной дорожке к выходу из парка, по направлению к Барри-роуд. В Дениз словно бес вселился, она перевозбуждена, она чем-то переполнена. Дождавшись, пока Джули посмотрит в другую сторону, она принимается лизать мороженое, словно член, так, чтобы Эдди видел, как оно размазывается по всему рту и густая тающая жижа стекает у нее по подбородку.

Где-то на юге, им не видно, где, в небе снова гулко ворчит гром — слабое бормотание-жалоба. По футбольному полю перед ними проносится ветер.

Эдди резко отворачивается от Дениз, но ему не остановить навязчивого возбуждения, поднимающегося у него в животе. От этого у него подергиваются плечи, пересыхают губы. Он держит Джули за руку, но каждый раз, глядя в сторону, видит Дениз, которая похотливо лижет верхушку своего мороженого или всасывает его здоровенными глотками, закрыв глаза в притворном восторге. Эдди эта манера кажется трюком опасным и дешевым, более того — в некотором смысле издевательским, но прекратить наблюдать, как она ест это мерзкое мороженое, он не может.

Затем ветер сзади раздувает ей юбку, и первые капли дождя расплываются у нее на блузке. Впереди с травы поднимается троица ворон и, бесшумно помахивая крыльями, летит к липам.

Джули говорит немного. Эдди гадает, что с ней такое; может, дозналась как-то, думает он. Он всегда так думает, независимо от ситуации, независимо от того, насколько это маловероятно, независимо от того, как странно было бы, если

бы она каким-то образом вдруг *узнала.*

И хотя подобные опасения должны бы внушать осмотрительность и осторожность, он приотстает на шаг, легонько прикасается к низу куртки Дениз и шепчет:

— Я тебя опять хочу.

Дениз бросает быстрый взгляд на Джули, проверить, слышала ли она, и шепчет в ответ, чуть-чуть более скромно, скромно и с иронией:

— А я думала, это бред.

— Все равно хочу.

Теперь Джули идет немного впереди; остатки своего мороженого она выбросила в металлическую урну. Она оборачивается и, кажется, вот-вот заговорит, но тут ей попадается на глаза светло-коричневое пятно на юбке у Дениз, спереди.

— Мам, что это с тобой произошло? — спрашивает она с улыбкой.

Дениз ничего не говорит в ответ, потому что не понимает, о чем Джули спрашивает. Но до Эдди доходит. Он продолжает наблюдать за женой, наблюдает и нервничает, в желудке у него что-то скребется, что-то странное и парализующее, вроде страха.

— Упала твоя мамаша, — говорит Эдди, усмехаясь. — Похоже, ее уже ноги не держат.

Джули замечает странные нотки в его голосе; в последнее время она стала замечать их все чаще и чаще. Она считает, что дело, наверное, во враждебной, напряженной атмосфере. В первое время после женитьбы, всякий раз, когда Джули настаивала на визите к ее родителям, Эдди дулся и раздражался. Он был против того, что Джули проводит с ними столько времени, это выглядело неестественно, вроде вмешательства в их взаимоотношения. «У нас дружная семья, понятно?» — только и отвечала на это Джули. А потом, как бы в порядке компенсации, она тоже предприняла огромные усилия, стала общаться с его родней — или, по крайней мере, с его несчастным, озабоченным, навеки облученным отцом.

— Так ты не ударилась, нет? — спрашивает она Дениз.

— Нет-нет, все хорошо, как никогда. Эдди пришел на помощь. Удобно, когда рядом мужчина: упадешь — он тебя поднимет.

Джули размышляет, не поцапались ли они опять, не произошел ли между ними в парке какой-нибудь спор, который они решили замять ради нее. Она чувствует себя виноватой за то, что все время навязывает Эдди общество матери.

Они молча шагают дальше и уже почти в су-

мерках подходят к восточному концу Барри-роуд. Большие серые облака движутся по краю неба, меняя галс, ветер торопливо пробегает по парку позади, то и дело донося до них капельки воды, предвещающие близкий ливень. Эдди сегодня, попозже, выходить в вечернюю смену, так что он очень доволен погодой: этой ночью можно будет неплохо заработать. Он представляет себе, как радио в машине, гортанно кашляя, отправляет его в очередную поездку, за много миль — в Бромли, Кэтфорд, Пендж — подобрать пару девиц, у которых хватило энтузиазма гулять всю ночь; от их болтовни у него улучшится настроение, и на чай они дадут щедро.

Немного впереди, на Барри-роуд, по тротуару рывками, покачиваясь, передвигается старик. Время от времени он останавливается подержаться то за садовую изгородь, то за столб. Он или бухой, или умирает, а может, и то, и другое.

Когда троица, догоняя его, нерешительно приближается, он оборачивается и встречает их ухмылкой. «Ну, и как оно вам пока что?» — говорит он, протянув к ним руки, словно представляя их вниманию нечто замечательное.

Он небрит, зубы у него — полный отстой: либо выпали, либо почернели, брюки покрыты кор-

кой какой-то дряни, темные пятна контрастно сочетаются со въевшейся грязью, а оборванное твидовое пальто держится на чем-то вроде зажимов-крокодильчиков. Волосы цвета тусклой глины облепляют его чересчур большой череп, из пореза над глазом еще сочится кровь.

Он стоит перед ними и ухмыляется, вроде как грозный, но на самом деле слишком старый и потрепанный жизнью, чтобы представлять большую опасность. Затем ухмылка исчезает, он по очереди обводит их взглядом, когда они пытаются пройти мимо него по тротуару. Эдди заботливо подталкивает остальных вперед, поначалу стараясь не обращать на старика внимания.

— Эй! — кричит им вслед этот придурок гребаный. — Я вам так скажу. Я так думаю, это все херня полная. Дерьмо это все…

Эдди с его чувствительностью и понятиями о рыцарстве такое поведение кажется слишком агрессивным. Велев Дениз и Джули идти дальше, он оборачивается пристыдить пьяного.

— Ты, мужик, чего тут на женщин разорался? Думай, блин, чего говоришь, — строго обращается он к придурку.

Выпрямившись, придурок расплывается в улыбке.

— Развитие, — тихонько говорит он Эдди.

— Чего ты сказал? — переспрашивает Эдди.

— Развитие. Развитие, — повторяет придурок, широко раскинув руки.

Не дождавшись от Эдди ответа, он кричит еще раз, для пущей убедительности:

— Развитие!

— Думай, чего говоришь, мужик, — бормочет обезоруженный Эдди.

— В развитии все дело, — умудренно кивает придурок, затем принимается с силой пинать дерево. Не зная, что делать, Эдди какое-то время стоит и наблюдает за тем, как тот дубасит дерево, все повторяя «развитие».

— Развитие! — орет придурок, а вокруг летают куски коры. — Развитие!

— Пидор ненормальный, — говорит Эдди и, пожав плечами и прекратив наблюдать за придурком, догоняет жену с любовницей.

3. Аллигатор

От грома сотрясаются окна, телевизор помигивает в такт молниям. Они сидят в гостиной у Дениз, пьют пиво и смотрят телевикторину; Дениз подвязала волосы черной лентой, разлеглась

на полу, привалившись спиной к дивану, и пьет прямо из банки. Вела бы себя, черт побери, как подобает в ее возрасте, со злостью думает он. Джули в кресле потягивает пиво из полупинтового стакана. У сидящего на диване Эдди такое чувство, будто его растянули между ними; он сидит, почти не притрагиваясь к своей банке «кока-колы», откинувшись назад, словно прижатый к дивану дополнительной силой тяжести, довеском притяжения, созданным специально для него. Дениз лежит в каких-нибудь нескольких дюймах от его левой ноги.

Участник телевикторины — нервно стоящий в центре толстяк; по его лицу бежит пот, похожий на раскаленное масло для жарки. Эдди представляется, что это он сам там стоит, перед всеми этими людьми, его спрашивают: «Почему вы спите с матерью вашей жены?», а ему в голову ничего не приходит, только одно слово: «Бред». Но это — неправильный ответ, и он, потеряв все деньги, выбывает из игры.

Толстяк в кадре вытирает лоб мясистым кулаком и тоже улыбается ведущему. Дела у него идут неплохо. Эдди пытается смотреть шоу, но не может оторвать глаз от Дениз; ее юбка опять подоткнута, как тогда, в парке, в просвете между

кустами можжевельника. Ноги у Дениз стройные, гладкие; имеется, правда, небольшое утолщение в районе талии, которое у нее хватает ума скрывать под просторными свитерами, свободными блузками и мужскими рубашками. Впрочем, Эдди сомневается в том, что ее внешность имеет какое-то отношение к его чувствам, к его одержимости. Сидя здесь, он решает, что это необходимо прекратить, ему нельзя оставаться с ней наедине, он себе не доверяет.

Что это за животное — кайман?

Джули говорит:

— Это обезьяна такая, маленькая обезьянка, да?

Джули вполне уверена в своей правоте, но толстяк изнемогает под ручьями пота, щурит глаза на свет.

— Иди ты, — говорит Эдди, — коза это.

— Вы не могли бы произнести слово по буквам? — просит толстяк.

— К-а-й-м-а-н, — произносит ведущий.

— Коза, — повторяет Эдди, прикладывая пальцы к голове с обеих сторон — на случай, если Дениз и Джули такое понятие, как «коза», незнакомо.

— Не, это обезьянка такая, — говорит Джули.

— Да пошла ты! — говорит Эдди.

— Это макака, — говорит Дениз.

— Нет, макака — это попугай, — говорит Эдди.

— Да нет, попугай — это макау, — говорит Джули.

— Макака — тоже попугай. Типа макау, но гораздо меньше и разговаривать не умеет, — настаивает Эдди.

— Наверное, насекомое какое-нибудь, — говорит Дениз.

— Кто, макака? — говорит Джули.

— Да нет, макака — это обезьяна. Кайман. Тропическое насекомое. В таких шоу правильный ответ всегда насекомое. Их же вон сколько.

— Аллигатор, — говорит толстяк в кадре.

— Да пошел ты! — говорит Эдди, обращаясь к телеэкрану.

— Да, ответ принимается, кайман — небольшое пресмыкающееся, вид аллигатора, — подтверждает ведущий, и зал взрывается.

Странный это мир, думает Эдди, когда тебе могут дать десять тысяч фунтов за то, блин, что ты знаешь, кто такой кайман.

— А я думал, коза, — раздраженно произносит он, ни к кому конкретно не обращаясь.

Эдди шумно прихлебывает свою газировку и

смотрит на часы. Махнув банкой «кока-колы» в сторону улицы, он поворачивается к Джули:

— Идти надо… может, зашибу немного, пока гроза…

Джули глядит на него с удивлением. До того времени, когда он обычно заступает, еще часа три-четыре, да и вообще у них одна машина на двоих с ее отцом, а он пока работает.

— Эдди, ну куда люди в такой вечер пойдут.

Нечего меня учить, что мне делать, думает Эдди, по-прежнему злой из-за фиаско с козой.

— Люди всегда гуляют. А прошлая неделя плохая была. Просто хочу собраться, чтоб, как Джим кончит, сразу в диспетчерскую махнуть.

В воскресенье вечером Эдди действительно всегда не терпится выйти на работу сильнее обычного. Прокат машины и плата диспетчерам — 240 фунтов, и пока эта сумма не наберется, он работает за бесплатно, под угрозой надвигающейся нищеты. Как правило, «пежо» удается отдохнуть часок-другой между сменами Джима и Эдди, но не по воскресеньям.

С тончайшим намеком на улыбку Дениз обращается к Эдди:

— Джим скоро придет — ему ведь хочется свою дочь повидать, хоть изредка. Ты же не можешь

выйти, пока машина не вернулась.

Теперь у толстяка спрашивают про столицу Гваделупы. Если правильно ответит, выиграет двадцать тысяч фунтов. Тут Джули, Дениз и Эдди даже и не пытаются угадать.

Эдди опять опускается на диван; эта фишка с притяжением снова начинает действовать. Он не может оторвать взгляда от Дениз, которая развалилась у его ног, волосы завязаны, как у школьницы, у престарелой школьницы. Джули вылезает из кресла и сообщает, что пойдет пописать.

— Расскажете, что было, — кивает она на экран.

— Что это тебе так приспичило уходить? — спрашивает Дениз у Эдди, как только его жена выходит из комнаты.

— Тошнит.

Дениз поворачивается взглянуть на него, по лицу ее пробегает все та же легкая ироническая усмешка.

— Знаешь, не я это начала…

— Никто не начинал, само началось. Меня так и так тошнит, а с твоим мужем пить как-то неохота. С тестем, блин, моим.

Но несмотря на это, он слезает с дивана и при-

саживается на корточки рядом с ней. Проводит рукой по внутренней стороне ее бедра, от чего комната перед ним плывет. Когда он просовывает руку под тугую резинку ее трусов, она, уронив банку с пивом, забрасывает руку за голову. Наверху спускают воду в туалете; Эдди поглубже погружает в нее палец, потом, раздирая нейлон, с силой загоняет в нее всю ладонь. Там у нее так влажно, что ему кажется, будто он промок насквозь, не только рука, а весь целиком. Он притягивает ее к себе и целует так остервенело, что она поначалу пытается отстраниться, но потом, широко раскрыв рот, хватает его за шею и втаскивает на себя. Им обоим слышны шаги на лестнице, но поцелуй прекратить трудно, и Эдди думает, да какой в этом смысл. У него такое чувство, словно он плавает в бассейне без дна и стен. От давления при поцелуе его рту делается больно, запястье его выгнуто назад почти под прямым углом, а под ним судорожно задыхается Дениз.

Шаги на лестнице доходят до самого низа, ему едва удается вовремя скатиться с нее. Когда Джули входит в дверь гостиной, он быстро идет в кухню.

В кухне непроглядная темнота, он в изнеможении прислоняется к шкафу с посудой и, закрыв

глаза, кладет пальцы в рот. Так он стоит до тех пор, пока кухню не освещает яркая вилка молнии: плита, холодильник, мебель под дерево, набор ножей из нержавейки — все это на полсекунды выхватывает холодный голубой свет. Тут же раздается гром, из гостиной до него доносится шипение телевизора и одиночный, похожий на жалобу звонок телефона.

Джули опять забирается в свое кресло.

— Так что там было? — спрашивает она.

— Ой, черт, пропустили, извини. Видать, все же правильно ответил, — отвечает Дениз, показывая на экран: толстяк весь лучится, а позади него вспыхивают и гаснут цифры: 20 000 фунтов.

— А Эдди где?

Дениз машет в сторону кухни.

— Наверно, чай заваривает. Или не знаю что.

Джули качает головой.

— Что с ним сегодня такое? Все время на взводе.

Немного поразмыслив, Дениз отвечает:

— Говорит, тошнит его. А по-моему, просто разозлился из-за этих кайманов с козами.

4. Девчонка из Леты

К девяти дождь прекратился, и с тех пор у него было всего три вызова: в Форест-Хилл, оттуда в Стокуэлл, потом подобрал пассажира из Камберуэлла и обратно на базу. Каждый заход по пятерке, чаевых никаких, последний раз — трое черных ребят, все в золоте, как это у них модно; диспетчер заставил их заплатить вперед, и в результате в машине они вели себя по-наглому. Радио орет песню о том, что надо снять с себя одежду, а то жарко. Сидя тут, барабаня пальцами по рулю, Эдди все больше и больше раздражается; может, хватит на сегодня, думает он, все равно особо лучше дело не пойдет. И вообще, это не машина, а помойка какая-то. Несет табаком, это Джим непрерывно курит, несмотря на красно-черные наклейки «Не курить», которые Эдди прилепил к панели и спинкам сидений. В дырке рядом с переключалкой заныканы остатки Джимова обеда: завитки хлебных корок и мазки кетчупа, а на полу под пассажирским сиденьем — разлохмаченные карты и старый экземпляр «Южно-лондонской прессы». Там же катается пустая банка из-под «Фанты». Эдди не понимает,

с какой стати ему тут убирать, и решает все так и оставить в надежде, что в следующий раз до Джима дойдет намек, хотя ему известно, что в общем и целом намеки до Джима не доходят. Странно это и неудобно, когда приходится по очереди пользоваться *и* машиной, *и* Дениз.

Он думает о Джули, как она сидит дома перед ящиком, смотрит по Би-би-си какую-нибудь длинную, тягомотную постановку из классики, задрав ноги на диван, и внезапно сырые улицы начинают казаться ему чуть более привлекательными. Думает он и о Дениз, его захлестывает знакомая волна отвращения и возбуждения, и тут он забывает про корки от бутербродов и все прочее свинство, раскиснув от дурацкой жалости к Джиму. Интересно, что сказал бы Джим, если б узнал? Он представляет себе эту сцену: Джим, наверное, просто заплакал бы или учинил что-нибудь не менее дикое, может, вырубился бы, а Дениз, что стала бы делать Дениз? Небось просто осталась бы стоять с этой легкой иронической усмешкой, ни о чем не жалея, и как-нибудь умудрилась бы взвалить вину на него, на Эдди.

Да, Джим точно бы расплакался, думает он. Чтобы выкинуть эту картину из головы, он заводит машину, разворачивается и газует по Пекэм-ро-

уд к «Макдональдсу», берет там «Мак-чикен» и чипсы, съедает их, прислонившись к машине, а картонную коробку с оберткой бросает в урну, промахнувшись при этом на ярд, так что упаковка оказывается на блестящем мокром тротуаре. Стерва эта Дениз, думает он. У нее ведь могли быть какие-то отношения с его собственным отцом, пока того не облучили окончательно, так что он теперь все время в отключке и почти не двигается. Честно говоря, Эдди до сих пор не уверен, что между ними ничего не было. Ведь могло же?

По радио его вызывают ехать в Камберуэлл, там какой-то девчонке нужно такси до Балэма. Он обнаруживает ее на улице у паба, она слегка покачивается, держась за фонарный столб, симпатичная, думает он, чуть моложе него.

— Здравствуйте, «Барри-карз». Это вам в Балэм надо? — спрашивает он. Девушка кивает и залезает на заднее сиденье, раскидывается там.

Радио по-прежнему работает, выплескивает из себя этот давнишний сахарный сироп из «Крэнберриз», но ему охота поговорить, и он обращается к девчонке:

— Всю ночь, значит, гулять собираешься?

— Нет, домой еду, — мямлит она.

Она закрыла глаза, поэтому Эдди больше не беспокоит ее, пока они не подъезжают к восточной границе Балэма; тут он поворачивается в кресле со словами: «Эй, тебе куда в Балэме надо?»

Она спит, тогда он повторяет вопрос, ее глаза открываются, она смотрит на него в ответ, ничего не соображая.

— Не помню.

— Так. А я думал, ты домой едешь.

— Да. Извините. Всегда все путаю, улицы и все такое.

— Как тебя зовут-то, знаешь хоть? — говорит он довольно добродушно, но девушка не отвечает, уставилась в окно.

Он едет дальше, забирает на запад, думает, может, какая-нибудь вывеска или примета подстегнет ее память, и минут через пять, когда они торчат на светофоре у метро, она приподнимается, нагибается вперед между передними сиденьями и восклицает:

— Да!

Эдди глядит на нее в ожидании.

— Эмили, это точно. А то я уж волноваться начала.

Он останавливается.

— Слушай, девуля, я не могу так всю ночь кру-

гами ездить. Мне же надо знать, где ты в Балэме живешь… есть у тебя что-нибудь при себе, какая-нибудь бумажка с адресом? — Эдди показывает на ее маленькую сумочку.

Она качает головой.

— По-моему, это все-таки не в Балэме. По-моему, это в Камберуэлле, типа того.

Вздохнув, Эдди говорит, ты что, издеваешься, а девчонка говорит, да нет, не издеваюсь, в общем, машина рывком разворачивается, и они направляются обратно, той же дорогой, что приехали. Она беззвучно дремлет, голова приткнулась к окну, а счетчик тем временем все щелкает, за пятнадцать фунтов перевалило, хоть бы у нее денег хватило заплатить. А если это не в Камберуэлле, а на самом деле в Балэме? В еще одной телевикторине он слышал про этого деда, Харона, который неумерших через реку перевозит. Может, он весь остаток ночи проведет, как Харон какой-нибудь, Харон в «пежо» вместо вёсельной лодки, без конца перевозящий неумершую девчонку из ниоткуда в никуда.

Застряв в пробке в районе Клэпэм-коммон, он чувствует, как Дениз, или мысль о Дениз, снова подбирается к нему. Неизвестно, почему она так на него действует, но он уверен, что в глубине ду-

ши все-таки знает, почему. Интересно, думает он, может, дело просто в том, что всякий раз, когда он ее трахает, так много ставится на карту, так многим рискуешь, каждый перетрах несет заряд угрозы, страха, напряжения — вот так, наверное, и должно быть, считает он. А может, и нет, может, дело в совершенно другом. Лучше даже и не пытаться все это понять. Трогаясь со светофора на краю парка, он внезапно чувствует, что снова хочет Дениз, так сильно, что руки подрагивают на руле. И тут, каким-то непонятным образом, ему в голову бог знает откуда приходит эта фишка, эта абсолютно бесполезная информация, которую он, наверное, подобрал где-то между делом и засунул в архив на задворках мозга, а некий сложный, непостижимый процесс привел к ее запоздалому, бессмысленному возврату в память: столица Гваделупы — Бас-Тер, вот и все.

ДОЛГАЯ, ДОЛГАЯ ДОРОГА В ЮТТОКСЕТЕР

Грэм просыпается от хронических проблем с простатой, плюс еще этот сон о нескончаемых пытках в руках бушменов Калахари. Стараясь поначалу не беспокоить храпящую жену, он медленно вылезает из постели и плетется в сторону ванной с одурманенными, невидящими спросонья глазами. Сгорбившись над унитазом и опираясь рукой о стену, после долгих стараний он наконец выдавливает из себя жалкую струйку мутной, химически-желтой мочи; потом, насухо отряхнув свой непослушный, истощенный пенис, наклоняется к раковине зачерпнуть ладонью воды в рот. Он проклинает свою простату и, пока из крана брызжет вверх, ему в лицо, рассуждает про себя: да, вот и все, лучше уже никогда не станет. Впереди медленный спуск в могилу, прерываемый нескончаемыми походами в уборную и другими физиологическими неприятностями, мелкими и нудными, когда все артерии, сухожилия и связки иссушены и отвердевают с каждым днем. Даже на то, чтобы просто встать с постели

пять минут назад, потребовалось нечеловеческое усилие, словно он машину поднял.

По утрам, когда его жена Клодия снует по хозяйству, Грэм не так мрачен, но сейчас, разрываясь между утомительным отправлением естественных нужд и желанием дать Клодии спокойно поспать, он чувствует, как унизительна старость: чего стоят одни эти настойчивые проявления пустяковых, неотвязно преследующих тебя неудобств. Плюс к тому, накануне вечером он посмотрел две телепередачи. Одна была об общественном строе и законах — или, скорее уж, беззакониях — бушменов Калахари; в другой, художественной драматической постановке, чрезвычайно привлекательная актриса Анна Фрил занималась оральным сексом с чередой разнокалиберных мужчин. В возрасте семидесяти двух лет неплохо было бы уметь как-то управлять своими снами, думает он. Хоть это-то можно? Но нет, ему достались бушмены. Только полностью распрямившись перед тем, как вернуться в спальню, он слышит негромкое шебуршение сначала на ведущей к дому дорожке, потом у входной двери. Он инстинктивно чувствует липкий страх. Разумеется, он предполагает, что это воры: кражи со взломом в их местах популярны, полиция к

этому явлению относится с пренебрежением или безразличием. Но тут, полностью придя в сознание под давлением обстоятельств, он понимает, что взломщики вряд ли будут стучаться в дверь и обычно не плачут, занимаясь своими делами. А человек внизу, кто бы он там ни был, ведет себя именно так. В смятении Грэм неподвижно стоит на месте и слушает, потом, когда стук раздается снова, тщательно вытирает руки розовым банным полотенцем и, медленно пройдя по площадке над лестницей, поднимает жену:

— Клодия… Клодия, вставай… там кто-то войти пытается. По-моему, у них что-то стряслось…

Дорога в Юттоксетер долгая, долгая. А Кристиан еще даже и половины не проехал.

Накануне вечером он прохаживается по платформе железнодорожной станции в Кембридже в ожидании слегка запаздывающего лондонского поезда. Его руки, и рот, и пах пропитаны ароматом секса — времени прошло совсем немного. Мигающий экран над ним сообщает, что поезд опаздывает на пять минут и, следовательно, прибывает через девять минут. Это его вполне устраивает, так что он выкуривает последнюю сигарету, прохаживаясь вдоль края платформы за опустевшим залом ожидания и закрытым бу-

фетом и размышляя, не пора ли позвонить жене. Он лезет в карман костюма и вытаскивает «Моторолу», но тут из громкоговорителя доносится объявление о каком-то поезде, следующем до Норича. Нет, думает он, вздрогнув, звонок жене был бы сейчас ошибочным ходом. Понимая, что желание позвонить вызвано чувством раскаяния, жгучей вины, наподобие язвы в сознании, он снова кладет телефон в карман, разворачивается и идет к металлической скамейке, сконструированной с расчетом на создание максимального неудобства, где и садится скоротать заключительные минут шесть.

Дело в том, что ему не положено находиться здесь, на станции в Кембридже. Ему положено быть в Юттоксетере, вернее, теперь уже — ехать домой из Юттоксетера. Так он сказал Анжеле. Нужно съездить в Юттоксетер, прочесть лекцию перед обществом Тюринга[8], сказал Кристиан — признанный эксперт по жизни и трудам Алана Тюринга. Лгать надо всегда с сильных позиций: если завести речь об Алане Тюринге, в его словах не посмеет усомниться никто, даже, вероятно, родственники Тюринга, если они еще живы. А

[8] Примечания: 8

Алан Тюринг — английский математик, заложивший основы современной вычислительной техники.

почему в Юттоксетер, спросила Анжела, что в общем-то от нее и ожидалось. На это Кристиан, удивленно взглянув, сказал: почему? Ты что, смеешься — почему? Да потому, разумеется, что он провел в этом городе три важнейшие недели непосредственно перед окончанием первой редакции «Принципов вычислений». Для наследников идей Тюринга, терпеливо и снисходительно продолжает он, Юттоксетер — важная веха.

Это чушь: насколько известно, Тюринг никогда не бывал в Юттоксетере. Но в устах Кристиана, автора двух книг об этом человеке, утверждение легко превращается в достоверный факт.

— У нас встреча в гостинице «Три дуба», — силится он перекрыть нытье и жалобы, привычный хаос за завтраком в кругу семьи, называя действительно существующий в Юттоксетере отель. Или, по крайней мере, почти существующий, так как на самом деле он называется «Два дуба», — эта ложь будет чуть потоньше.

— Когда ты вернешься? — спрашивает Анжела, пытаясь запихнуть еду в горло их беспутной дочери Марте. Та в возрасте двух лет уже страдает не то анорексией, не то булимией, чем-то в этом роде, отказывается от любой еды и худеет с

каждым днем. Тощая, неказистая, что твой пони, спасенный RSPCA[9] из цыганского табора: кожа да кости, вид удрученный; их потом обычно приканчивают, невзирая на всеобщее сочувствие.

— Сегодня же вечером, но, боюсь, поздновато, — ничуть не кривя душой, отвечает Кристиан, делает последний глоток кофе и наблюдает, как его дочь с отвращением опрокидывает миску с шоколадными хлопьями.

— Юттоксетер — это где? Похоже, глушь какая-то.

Кристиан надеялся, что она не спросит об этом, но все равно подготовился.

— Да где-то на севере. В такую даль тащиться, сплошной геморрой. На хрена я вообще согласился — так, из ложного чувства долга. То есть тема-то моя.

— Ни пуха. Я не понимаю, они что, в Лондоне все это не могли устроить? Просто какой-то снобизм наизнанку. Ты знаешь, что меня тоже сегодня допоздна не будет?

Конечно, знает. Это — основной фактор в его тщательно продуманной схеме.

— Ага, бар «Моппет». Счастливо вам погулять.

---

[9] Примечания: 9

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) — британское Королевское общество защиты животных.

Миранде привет передавай.

На заднем плане нервно мелькает Зинаида, украинская нянька: бледная человеческая тень, острые, хрупкие скулы на дистрофических ножках. Она внимательно за ними наблюдает, но не понимает ничего. Родилась она неподалеку от Чернобыля в 1986-м; по мнению Анжелы, какая-то дрянь прицепилась к ней еще в материнской утробе. Есть якобы один вид мыши-полевки, обитает рядом с неработающим реактором, на белорусской стороне, достигает размеров в два раза больше обычного и обладает сверхинтеллектом — типа полевка необыкновенная. Может, на людей радиация оказывает прямо противоположное действие, говорит Анжела, поскольку Зинаида малоросла и глупа.

Так вот, Кристиан выбрал для своего плана Тюринга, поскольку он специалист по Тюрингу, а Юттоксетер — по неким дьявольски сложным причинам. Во-первых, он почти уверен, что Анжела о нем никогда не слышала. Он и сам о нем почти никогда не слышал. Он говорил, что это «где-то на севере», но она и понятия не имеет о том, что на самом деле Юттоксетер находится на севере средней Англии, чуть к югу от Стока-на-Тренте, если верить его автомобиль-

ной карте. Кристиан сильно подозревает, что название места она забудет, а нет, так он и тут подстраховался. Если Анжеле внезапно вздумается ему позвонить, что маловероятно, придется ей вспомнить название города плюс название гостиницы, а это уже чересчур. Далее, в телефонном справочнике отель «Три дуба» в Юттоксетере отсутствует. Наконец, с большой вероятностью она, даже если попытается найти Юттоксетер в алфавитном указателе, пропустит второе «т», ибо произношение названия весьма обманчиво. Так что у нее будут проблемы с поисками города и большие проблемы — с поисками указанной гостиницы. Если вдруг, бог знает по какой причине, она станет упорствовать, разыщет отель «Два дуба» и выяснит, что никакой мистер Виверс там отродясь не бывал, он скажет, да нет, я же тебе говорил, гостиница «Три дуба» — и все, разговор окончен. А если по его возвращении Анжела скажет: слушай, я тебе пыталась звонить, но там, оказывается, нет такой гостиницы, как ты называл, то он ответит: что значит нет, гостиница «Два дуба» и т. д., и т. п.

Ну как, не потеряли еще ход мысли?

Да и нет у нее, по сути, вообще никаких оснований его разыскивать: он же не собирается

отсутствовать всю ночь, только бóльшую часть вечера.

«Где-то на севере», как она выражается, Анжела была всего однажды. В Блэкпуле, куда ездила с какими-то подругами на выходные, и ей там совершенно не понравилось. Останавливались в гостинице, ходили по дискотекам. По возвращении она только и говорила о том, как там холодно, да про местных — такие все неотесанные, ужас, с этой своей противной добродушной общительностью. Добирались они поездом и по пути, возможно, проезжали через несколько стаффордширских городов — скажем, Лик и Стаффорд. Может, даже Тамуорт. Но ни в коем случае не Юттоксетер. В Юттоксетер, на самом деле, идет отдельная ветка, Сток-Дерби. Но по ней она ехать никак не могла. Кристиан проверял.

И скачками Анжела тоже не особенно увлекается; а откуда еще лондонцу может быть известно об этом городке. Там есть ипподром.

Для того, чтобы убедительно лгать человеку, его надо очень близко знать, думает он. По сути, человека надо любить. А уж он-то, разумеется, крепко любит Анжелу. Он на многое, можно сказать, практически на все готов, лишь бы не причинить ей боль.

К третьей платформе подходит норичский поезд, по громкоговорителю объявляют разные станции, где поезд соизволит остановиться. Хорошо, что он решил не звонить Анжеле прямо сейчас. А то она могла бы услышать краем уха объявление и спросить, так что, Юттоксетер, значит, недалеко от Норича, и вся стройная система его алиби начала бы таять. Думая об этом, он слегка вздрагивает и лезет в карман совсем отключить телефон. Береженого бог бережет.

Еще только половина одиннадцатого, так что в любом случае Анжела пока гуляет со своими подругами, Кларой и Мирандой, накачивается водкой с диет-тоником в баре «Моппет».

А если она попытается разыскать его через общество Тюринга, тут ей тоже не слишком повезет, ибо такового не существует. Он его выдумал.

Он размышляет, не зажечь ли еще сигарету в качестве известного с незапамятных времен стимулятора прибытия поездов, но тут громкоговоритель с похрустыванием оживает — сообщить, что его поезд прибывает на станцию, и принести извинения за задержку, вызванную неисправностью семафора.

На станции Дисс.

Зачем же он все-таки приехал в Кембридж?

Потрахаться запретным образом, зачем же еще. Запретным образом потрахаться с Джоанн — они познакомились две недели назад на презентации книги в Пимлико. Джоанн, студентка двадцати двух лет, крепкая и юная, с ясными, хоть и слегка выпученными от щитовидки, карими беличьими глазами, изучает английскую литературу. Ее диплом, как она ему разъяснила в мельчайших подробностях, посвящен литературе двадцатого века, связанной с наукой: в основном этот страшный зануда Ч. П. Сноу, хотя местами встречаются также реверансы в сторону Джерасси, Леви, Гибсона и Филипа К. Дика. Она с полным знанием дела говорила о Тюринге, не только о его достижениях, но и об исковерканной сексуальной ориентации. У Кристиана такое ощущение, что, если девушка говорит о чьей-нибудь исковерканной сексуальной ориентации, это хороший признак. Как бы то ни было, с Джоанн у него этот юттоксетерский номер точно не прошел бы, с ее-то багажом знаний о Тюринге.

Свой диплом она озаглавила «Научное воображение». Так что они с Кристианом, в некотором роде, два сапога пара; да что уж там — спаривались на всех парах каких-нибудь полчаса назад.

Он, кстати, сказал Джоанн, что живет один в

своей квартире в Балэме, тогда как на самом деле живет с женой, дочерью и странной нянькой в Тутинге. Тутинг и Балэм находятся на юге Лондона, совсем недалеко друг от друга, но почтовые индексы у этих районов разные. *Modus operandi* [10] Кристиана в таких случаях всегда состоит в том, чтобы лгать обильно и сознательно жене Анжеле и совершенно без разбору — партнерше, приобретенной в менее отдаленном прошлом (т. е. в данном случае Джоанн).

Поезд подходит к платформе, Кристиан выбирает вагон, где не слишком много народу. Попасться на глаза кому-нибудь, с кем знакомы они оба — Анжела и Кристиан, а не Джоанн и Кристиан, — риск несомненный, но очень небольшой. На самом деле, по дороге в Кембридж он даже пытался вычислить вероятность этого события. Она, по-видимому, меньше, чем могло бы показаться простому дилетанту — где-то один шанс на несколько тысяч, если принять во внимание все множество переменных. Но тем не менее слишком велика, чтобы риском можно было полностью пренебречь.

Подошедший состав — новый, герметизирован-

---

[10] Примечания: 10
Modus operandi — образ действий *(лат.).*

ный, почти бесшумный, если не считать слабого гула, идущего сверху от проводов. Кристиан поднимается в вагон, садится в кресло у прохода и кладет свой портфель на соседнее сиденье у окна. В портфеле — набросок его обращения к обществу Тюринга, самый настоящий плод научного воображения. Шесть страниц — на это у него ушла большая часть дня.

Стоил ли он того, этот подобный лабиринту обман? Или в этом подобном лабиринту обмане и состоит суть? Тут Кристиан не может определиться. Джоанн очень мила — вызывает некие ассоциации с вольером мелких млекопитающих лондонского зоопарка, — да и в смысле секса располагает к себе ровно настолько, насколько ожидалось. По дороге в модный до раздражения бар, где она предложила встретиться в обед, он размышлял про себя о том, что же может повлечь за собой это знакомство. Половой акт казался событием весьма вероятным, если не целиком определенным. Шансы за полноценный секс с пенетрацией и против оного представлялись ему примерно равными, с небольшим перевесом скорее на стороне какой-нибудь низкоуровневой деятельности, романтической или сексуальной — как минимум, ручной работы вводного харак-

тера. Оценки его были намеренно занижены с целью смягчить последующее разочарование. Но уже в час дня, за полированным деревянным столиком в баре она не отняла своей руки, а затем в ответ сама взяла его за руку, так что шансы на успех стали весьма резко расти.

Не то чтобы он был уверен, что желает предаться полноценному сексу — в душе-то был, но физически какая-то часть его, важнейшая часть, нередко увиливала от своих обязанностей при подобных запретных контактах. Ему непонятно, почему так иногда происходит. Эта тема не из тех, на которые ему приятно задумываться подолгу.

Впрочем, Джоанн оказалась интереснее, чем он поначалу предполагал. Художественное оформление ее квартирки было совсем не то, что встречается обычно: не девчачьи Матисс или Пикассо, не куча лубочных фотографий, но крупные, в рамках, как положено, репродукции (предположил он) Бриджит Райли и, как ни странно, Лихтенштейна, с его-то мощнейшим мужским началом. А просматривая ее библиотеку, пока она чистила перышки в ванной — наверное, подмывалась, или мочилась, или, вполне возможно, брызгалась каким-нибудь вагинальным дезодорантом из серии женских гигиенических

средств, — он был и вовсе поражен, увидев полное собрание этой чокнутой янки, Айн Рэнд[11]. Все они — «Источник», «Атлант расправил плечи» — были расставлены одна за другой прямо посередине полки. Можно сказать, гордо выставлены. У Кристиана какой-то бзик по части женщин с крайне правыми взглядами. Непонятно почему. Ему не попадались другие мужчины, мастурбировавшие на фотографии Эвы Перон, Алессандры Муссолини и Лени Рифеншталь. Узнав, что Брижит Бардо теперь голосует за «Национальный фронт» мсье Ле Пена, он неделями разыскивал ее старые фильмы. Есть нечто завораживающее и противоестественное в женщине, исповедующей, сознательно или пусть даже инстинктивно, правые взгляды. Айн Рэнд — господи помилуй!

Кристиан размышляет, не время ли теперь позвонить Анжеле. Пожалуй, нет еще, думает он, но телефон надо снова включить на случай, если она позвонит ему. Слишком надолго отключенный мобильный — лишний повод для подозрений. Он вынимает «Моторолу» из кармана и кладет рядом с портфелем. Поезд скользит, как виноватый

---

[11] Примечания: 11

Айн Рэнд — американская писательница, проповедовавшая объективизм — радикальное философское течение, базирующееся на капиталистических идеях рационального индивидуализма.

серебристый призрак в кембриджширской ночи.

Он схватил Джоанн, когда та вышла из ванной, прижал ее к стене и поцеловал, руками ероша ее тонкие каштановые волосы, потом соскользнул вниз, к искусно продуманному просвету между белой футболкой и верхом серых рабочих брюк. Поглаживая мягкую, бледную полоску плоти, он не обнаружил в ее отклике недостатка энтузиазма: ни вырываться, ни говорить, нет, прошу тебя, не надо, я не готова, она не стала — ничего подобного. На самом деле она была более чем готова. Не говоря ни слова, она повела его за руку в спальню, где, прижавшись, принялась расстегивать ему рубашку, а затем начала терзать его сосок быстрыми укусами своих довольно острых, крепких резцов. Все это произошло так быстро, что он даже не успел разглядеть новую обстановку, заметив лишь размытую путаницу белого белья, запах одежды и простыней, выстиранных с добавлением кондиционера для ткани «Весеннее пробуждение»™ фирмы «Ленор», да очередное произведение то ли оп-, то ли поп-арта, полностью скрывающее одну из стен комнаты. Да еще милый, бледный свет послеполуденного солнца, омывающий ее лицо.

В первые их разы — можно, пожалуй, даже

сказать, свидания — с Анжелой ее спокойствие и целеустремленность удивляли и смущали его. Не нравлюсь я ей, думал он каждый раз по дороге домой после вечера, прошедшего в пресекаемых попытках зарыться, потеребить и пощупать вокруг да около. Но оказалось, нравится. Ведь они вместе уже шесть лет, в ходе которых Кристиану доводилось выстраивать замысловатые обманы по поводу семнадцати внепрограммных перепихонов и влажно-дружелюбных копошений. В среднем выходит около трех в год. Однако было бы заблуждением рассматривать статистику столь поверхностным образом. Дело в том, что в первый год это случилось только однажды, во второй — четырежды, в третий (когда родилась Марта) — шесть, в четвертый — пять, в пятый — один раз. Это его первый контакт подобного рода в нынешнем году. Если начертить график, получилась бы занимательная и поучительная парабола. В каких, интересно, переменных? Какие тут действуют силы? Он сам во время подобных эскапад ощущает, как что-то — быть может, генетическая или историческая необходимость — движет им против его воли, лишая власти над собственной судьбой.

Болдок. Северный Хартс. Граница Чилтернс.

Чулочно-носочная промышленность, осветительные приборы. За последнюю четверть века все это слегка оттеснил на второй план новый город, Стивенидж. Поезд идет неплохо. Он заведомо успеет на метро, подкинуться по Северной линии домой, в Тутинг.

В какой-то момент, ближе к завершению акта совокупления сегодняшним вечером, он необъяснимым образом отвлекся и самую малость запаниковал: не мог вспомнить фамилию девушки, которую трахал. Интересно, помнит ли она, как его фамилия, подумал он и решил, что, наверное, да. Женщина может не знать, где она находится, в сугубо географическом смысле слова, но, как правило, помнит, с кем имеет сношения.

Еще до семяизвержения в его мозгу стали складываться первые стратегические планы отступления; одновременно он ломал голову над тем, встречаться ли с ней снова. Анжела уже начала пузырьками подниматься на поверхность его сознания и плавать перед ним с поволокой упрека в глазах.

Только в тридцати процентах этих несанкционированных соитий он виделся с девушкой больше одного раза.

Запрокинув голову и разметав волосы по полу,

Джоанн свесилась с края кровати, отчего Кристиану потребовалось вцепиться в ее талию, иначе они оба свалились бы. Затем, после не лишенного приятности поталкивания, весьма непродолжительного, она кончила с восторженными воплями и задыхающимся улюлюканьем макаки-резус, что льстило, пусть и вызывая тревогу.

Думая об этом, он тянется за мобильным. Теперь Анжела уже наверняка вываливается из бара «Моппет» с Мирандой и Кларой. Недавно разведенная Клара скорее всего подбивает их пойти в ночной клуб или выпить на посошок у Джимми Хайдеггера, перед тем как удалиться на покой. Кристиан берет в руку телефон.

В этот момент его почему-то внезапно катапультирует из кресла, прямо через проход. Это происходит так быстро, что ему даже не удается зафиксировать ни удивление, ни страх, ни боль. Бац-бац-бац, бьется его тело сначала о стену вагона, затем о потолок, о пол. Как в тумане, до него доносятся крики, откуда-то неподалеку, и этот жуткий звук разрыва, как будто гигантский инопланетянин рвет надвое целый металлургический комбинат, и визгливый скрежет; возникает чувство невесомости, за ним — интенсивнейшего притяжения; тут вырубается свет,

и его тело снова бросает вверх и вбок, крутит то так, то эдак в потоках воздуха.

Железнодорожная катастрофа, думает он про себя с похвальной проницательностью, стукаясь головой о край сиденья. И тоже вырубается.

Придя в себя, он чувствует холод. Слышны плач мужчины вдалеке, чье-то прерывающееся бормотание и легкий шелест над головой. Это дождь, дождь льет на потерпевший крушение поезд. Распростертый поперек двух сидений, чем-то заклиненный, лицом к разбитому окну, металлические закраины которого зловеще выгнуты внутрь, он ощущает страшную слабость плюс некую потусторонность. Заметив кровь на полу под собой и еще — впитавшуюся в сиденья, он думает: интересно, это моя кровь? Должно быть, моя. Больше тут никого нет. Плохо соображая, он пытается взять себя в руки. Надо вызвать «скорую», думает он, или пожарных. Или они уже знают? Снаружи не видно синих мигалок, не слышно сирен. И все же у него такое чувство, что спал он долго.

Мне нужно позвонить Анжеле, думает он.

Но сначала необходимо напрячься и найти телефон среди этих обломков.

Совсем близко от него раздаются чьи-то стоны:

«Помогите, кто-нибудь, помогите, пожалуйста». Я должен помочь этому человеку, автоматически думает он, ну да, вот только телефон найду.

А вот и его «Моторола». Невероятно, но он по-прежнему держит ее в левой руке. Теперь он вспоминает, как готовился звонить Анжеле, когда произошло крушение. Но голова у него кружится, ориентация утрачена, а чувство перспективы перекошено. Телефон, к примеру, выглядит так, будто до него по крайней мере несколько ярдов, однако вот же он, по-прежнему в левой руке. Кристиан пробует сомкнуть вокруг телефона пальцы, затем прекращает попытки, поскольку ничего не происходит, рука не слушается команды. Должно быть, я порвал сухожилие, а может, руку сломал, думает он, или же — ему делается страшно — это что-то неврологическое. И все же сильной боли он не чувствует. Попытка дотянуться до телефона другой рукой приводит его в замешательство, так как, несмотря на все старания, приблизиться к нему никак не удается.

Затем смятение немного рассеивается, и он осознает природу своего затруднения. С чувством перспективы все в порядке. Его левая рука — и телефон — действительно находятся на порядочном расстоянии от него. В нескольких ярдах, по

ту сторону от разбитого окна.

И, очевидно, больше не соединены с остальными частями тела.

На этом он снова отключается.

Непонятно, умер ли он, жив ли, без сознания или в полном сознании. Чувство такое, словно он лежит на том же месте, раскинувшись поперек двух сидений, придавленный чем-то тяжелым в районе плеч и спины. Он видит свою руку через разбитое, искореженное окно и ощущает нечто вроде смутной ностальгии по ней. Вот она, моя рука, думает он. Много лет принадлежала мне. А теперь поглядите на нее: лежит там в грязи, одинокая и неприкаянная. Прощай, рука, бормочет он, прощай! И рука, чуть-чуть приподнявшись от земли, легонько помахивает ему в ответ. Прощай, Кристиан, говорит она.

Когда острый спазм боли вышибает его из забытья, все вокруг становится до жути отчетливым и ясным. Он колышется, парит в холодном ночном воздухе, затянутом вуалью бледной мороси, плывет на спине, поднимается выше, выше, выше, правда, не плавно — рывками, и каждый рывок отдается непостижимой силы электрошоком в его левом предплечье, предплечье без руки. Он

стонет, несет невнятицу.

Огромное мужское лицо проскальзывает в кадр, серое и рябоватое в глубокой тени от аварийных прожекторов. Уже все нормально, говорит ему лицо, все будет в порядке, про вас не забыли, все нормально. Синие мигалки озаряют вспышками его собственное лицо, он чувствует запах бензина, слышит шум моторов, а поверх всего этого — голоса. Они что-то обсуждают, и это что-то — он сам, доходит до него через несколько мгновений. Потеря крови. Травма. Левая рука ампутирована, других тяжелых травм нет. Больно ли ему, спрашивает голос. А ты сам как думаешь, отвечает кто-то сзади с сухим смешком. Хрен его знает, может, перелом ребер, пара порезов-ушибов, никаких внутренних повреждений пока не выявлено. Легко, значит, отделался. Морфин… нет, двадцать кубиков… больше не надо. Сэр, вы меня слышите? Сэр, вы меня слышите? Я к вам обращаюсь, сэр: вы меня слышите? Теперь они говорят с ним, что-то у него спрашивают.

— Да, — отвечает Кристиан, — я вас слышу. Время точное никто не подскажет?

Кто-то опять смеется.

— Одиннадцать тридцать. У тебя что, какие-то планы на вечер?

Над ним возникает то же огромное лицо.

— Как вас зовут, сэр? — спрашивает оно.

Кристиан отвечает неразборчиво, и тотчас поле его зрения начинает захлестывать волна чего-то серого, пока он, ничего уже не видя, наконец не отплывает обратно, в своего рода подвешенное состояние, удобное, но разболтанное.

Так, теперь плечо у него больше не болит. Боли нет нигде, но его охватывает жуткая тревога, смятение. Он лежит чем-то опутанный, распластанный на спине в реанимационной палате Кембриджской королевской больницы, вокруг помигивают огоньки, на заднем плане слышно невнятное бормотание соседей-пациентов, да изредка побрякивание и звуки шагов. Сколько сейчас времени, думает он про себя.

Он должен позвонить Анжеле. Она дома и уже наверняка начала волноваться. Но вместе с рукой пропал и его телефон. Как он собирается все это объяснять наутро?

Он пытается подойти к проблеме логически, не поддаваясь панике. Он находится в больнице в Кембридже, тогда как на самом деле должен ехать домой из Юттоксетера. Возможно, думает он, Анжелу убедят доводы о том, что дорога домой из Юттоксетера проходит *как раз* через

Кембридж. Географию она знает из рук вон плохо: воображала, например, что Блэкпул расположен где-то в сотне миль от Лондона, возможно, в Уэльсе. Ее поразило, какой дальней оказалась та увеселительная поездка на выходные. В романе Ричарда Адамса «Вниз по течению» говорится о кроликах, способных считать только до четырех. Все, что больше, у них называется «хрейр», будь то пять или пять тысяч — все один «хрейр». Фраза Анжелы «где-то на севере» выполняет ту же функцию, думает Кристиан в приливе чувств. «Где-то на севере» означает где угодно за пределами тридцати миль от моста Ватерлоо, к северу, югу, востоку или западу — не важно. Ньюкасл, Лидс и Бедфорд — «где-то на севере». А также Аберистуит, остров Танет и Сент-Айвз. Она, однако, знает, что Салкум находится в Девоне и, более того, в «западной части страны», поскольку у ее матери там квартира. Как-то на раннем этапе их отношений они вместе провели там дождливые майские праздники — своего рода экспериментальная попытка совместной жизни, прошедшая настолько успешно, что в первый же вечер по возвращении в Лондон был заказан грузовик для Анжелиного барахла.

Кристиан пытается приподняться на левом

локте и тут вспоминает, что его больше нет. Так что вместо этого он приподнимается на правом локте. До чего же быстро человек адаптируется в процессе борьбы за выживание!

За стеклянным, просматривающимся насквозь окном его палаты пробегает медсестра с лотком инструментов. Ему слышно, как в коридоре размешают и успокаивают вновь прибывших; еще, должно быть, совсем рано, думает он. Бедных, несчастных по-прежнему доставляют с места катастрофы. Себя он ни на секунду не причисляет ни к бедным, ни к несчастным. У него есть проблема, которую надо решать.

Итак: сказать Анжеле, что он сделал пересадку в Кембридже? Кристиан обдумывает потенциальные опасности, которыми чреват данный план бегства. Если он скажет ей, что стал жертвой крупной железнодорожной катастрофы близ Болдока, то она проявит больший, чем обычно, интерес к нескончаемым репортажам о происшествии. С весьма ненулевой вероятностью туда включат карты маршрута, которым шел обреченный поезд. Но ведь картинку, скорее всего, обрежут у Кембриджа? Не станут же по ТВ показывать карту, где обозначено взаимное расположение Кембриджа и Юттоксетера. Разве

что лично ему назло.

Но, размышляет он, если кто-нибудь из друзей или ее чертов отец — если они спросят, как это он вдруг оказался в поезде в районе Кембриджа… тут-то тайное и станет явным. Ее отец знает точные координаты Юттоксетера. Он ястребом кинется на добычу. По дороге домой из Юттоксетера через Кембридж не проезжают, скажет он. Как-то подозрительно все это.

Ему в голову каким-то образом приходит новая мысль. Не объяснение неприятности с рукой как таковой, но, по крайней мере, способ выиграть немного времени. Дело в том, что времени чрезвычайно мало. А что, если попробовать следующий вариант: выписаться из больницы и отправиться домой, лучше всего на такси. К тому времени, когда он вернется, Анжела уже уснет; ему нужно будет лишь прошептать тихонько «здравствуй, дорогая», забраться в постель и плотно укутаться одеялом. Следующим утром она довольно рано уйдет в школу св. Бернадетты — к первому уроку. Завтра вечером ей надо к родителям… то есть надо-то им обоим, но можно отбояриться в последний момент, позвонить с работы и сказать, что ему нужно посидеть кое над чем дома или что он устал. К ее приходу он опять-

таки уютно устроится в постели. При условии, что ему удастся это провернуть, в течение следующих тридцати шести часов они пересекутся, лоб в лоб, максимум минут на десять — пятнадцать. Если в течение этой кратковременной пытки, которая, несомненно, жутко потреплет ему нервы, набрасывать пиджак на плечи, а не надевать по-настоящему, если не забывать отворачиваться, держаться к ней вполоборота или хотя бы прикрывать левый бок, если все это выдержать… *тогда она, вполне возможно, не заметит отсутствия у него одной из рук.*

Это даст ему время сфабриковать правдоподобное объяснение: ДТП по дороге с работы домой, страшный взрыв в одной из лабораторий или защемление руки в дверях университетского лифта. Сейчас это не важно; в конце концов, существует тысяча способов потерять руку. Замечателен данный план тем, что позволит ему выиграть время.

Господи, думает он, да ведь это может сработать. Каковы минусы плана? Мозг Кристиана переключается в привычный и удобный ему режим двоичного анализа. Ему придется убраться отсюда — и вернуться домой — в темпе, иначе ничего не выйдет. И потом, имеется проблема с

Зинаидой. Та и после ухода Анжелы на работу целый день будет наблюдать за ним дома и даже при всей своей глупости сможет заметить, что чего-то не хватает. Но пусть бы даже и заметила, рассказать Анжеле все равно не сумеет, ибо не говорит по-английски. Нянька, а не знает даже, как по-английски «ребенок». И наверняка не знает, как по-английски «рука» и «ампутация». Сумеет ли она как-нибудь объясниться с Анжелой, когда та придет домой? Мимикой и жестами дать понять, что у Кристиана недостает руки? Маловероятно. С какой стати?

Марта, однако, дело другое. Она вполне может заметить отсутствие руки, но ей будет наплевать. Подумает, что терять руки — очередная слабость, которой подвержены эксцентричные взрослые. А если все-таки скажет что-нибудь, Анжела просто решит, что она, как обычно, несет чепуху.

Придется быть очень осторожным, выступать с огромным самообладанием и присутствием духа — но ведь прежде он с этим справлялся. Почему бы и не теперь?

В его мозгу прокручиваются переменные.

Ему предстоит нос к носу столкнуться с людьми на работе. Они заметят, что с рукой у него не все в порядке. Так что им-то уж рассказать придется.

Что, если кто-нибудь из них позвонит Анжеле *до* официального, так сказать, сообщения о пропаже его руки? Кто бы из сотрудников это ни оказался, рано или поздно человек вынужден будет выразить сочувствие: надо же, какое несчастье у вашего мужа с рукой. То есть как, что случилось? Как что, ведь ее же больше нет! И тогда перед ним возникнет сложная задача — объяснить Анжеле, почему он забыл сообщить ей о потере руки. Тут ему потребуется придумать два оправдания: одно для Анжелы, другое — для коллег, а также проследить, чтобы две версии не вступили в конфликт, вроде вещества и антивещества. А они действительно иногда ей звонят, его коллеги. С некоторыми она знакома: со Стюартом из центра средств массовой информации и с его подружкой Салли, а та — *секретарша кафедры!* То есть первая, кто по утрам встречает его на работе.

А в университет ходить придется, чтобы убраться из дому. Причем Анжела всегда звонит ему на работу, так что нельзя *сказать*, что пошел туда, а самому спрятаться в музее Хорнимана или еще где-нибудь.

Можно ли заявить, что он потерял руку по дороге на работу? Это сложно и вообще вряд ли поможет ему выиграть время, чтобы привести

мысли в порядок и выработать линию защиты.

Кристиан трясет головой, отчего по его боку прокатываются небольшие болевые волны. Невозможно, просто невозможно.

Наиболее безопасный путь, думает он, это как-нибудь добраться до Юттоксетера или хотя бы докуда-нибудь в тех краях. Например, до Стока. Или Дерби. Обратиться в местную больницу и сказать: слушайте, меня тут рука немного беспокоит. Вы мне не поможете? Тогда ему понадобится выдумать всего одно объяснение по поводу пропажи руки, и он будет избавлен от тридцатишестичасовой моральной пытки обманом. Но чтобы план сработал, в Юттоксетер ему необходимо попасть поскорее. Так, а что если он…

— Мистер Баббидж… Мистер Баббидж… Вы спите?

Раздумья Кристиана прерывает беспокойного вида врач с зачесанными назад черными волосами, уставившийся на него сверху вниз. Кристиан в замешательстве. Какой еще к черту Баббидж? Он что, сказал им, что его так зовут? Это вполне возможно. Чарльз Баббидж[12], ну конечно — еще одно значительное лицо в истории вычислитель-

[12] Примечания: 12

Чарльз Баббидж — английский ученый, одним из первых в XIX веке пришедший к идее машинных вычислений.

ной техники.

— Нет, не сплю.

— Как вы себя чувствуете?

— Прекрасно. — Кристиан безуспешно пытается небрежно пожать плечами. — Ой! — вырывается у него. Время, когда он мог небрежно пожимать плечами, прошло.

— Вы пока еще очень слабы, у вас сильная кровопотеря, которую мы в основном скомпенсировали. И вполне могут возникнуть различные симптомы шока, как от катастрофы, так и от непосредственного воздействия травмы на организм. Но зато есть две очень хорошие новости.

Кристиан улыбается этому человеку. Очень хорошие новости ему не помешали бы.

— Да?

— Хотите верьте, хотите нет, но вы весьма легко отделались. Ни серьезных внутренних повреждений, ни кровотечения. Сотрясение, и то нетяжелое.

— Хорошо, — говорит Кристиан.

— Во-вторых, руку вам оторвало очень аккуратно. Мы думаем, что ее можно восстановить; вероятность успеха процентов девяносто — девяносто пять. На то, чтобы она начала правильно функционировать, возможно, уйдет много вре-

мени…

— Вы нашли мою руку?

— Да. Сбоку лежала, возле путей. По крайней мере, мы предполагаем, что это ваша, — смеется врач.

— И телефон там же был?

Врач смотрит на него с удивлением.

— Понятия не имею. Могу попозже узнать.

— Так вы считаете, что сможете пришить мне руку обратно?

— Да, определенно.

— Когда?

— Ну, в течение нескольких дней…

— О нет, извините… это исключено.

— Что?!

— Если так долго надо ждать, я лучше обойдусь без руки. Видите ли, мне надо попасть домой сегодня вечером. Или утром, в зависимости от того, сколько сейчас времени.

— Мистер Баббидж, — говорит врач, — мы никак не можем пришить вам руку сегодня ночью, хотя бы потому, что вы все еще находитесь в состоянии сильнейшего шока и можете не пережить длительной операции. Я определенно не готов пойти на такой риск. И домой вам ни в коем случае нельзя. Швы вам на руку наложили

временные; вам вообще не следует двигаться. К тому же у вас, разумеется, сотрясение.

— Да, я в курсе. И мнение ваше уважаю. Но, к сожалению, если операцию нельзя сделать сегодня ночью, то мне придется, боюсь, совсем отказаться от руки.

Врач ошеломлен, но тут же опять улыбается ему.

— Послушайте, мистер Баббидж. Вам лучше всего немного поспать. Если боль возобновится, просто вызовите сестру вот этой кнопкой. Вернемся к нашему разговору утром. А теперь извините, мне необходимо заняться весьма неприятными травмами. Не ночь, а кошмар какой-то.

И врач уходит.

Подождав, пока тот скроется из виду, Кристиан отдирает пластмассовую капельницу от единственной руки и выбирается из постели. Его одежда — в пластиковом пакете на стуле возле койки. Прислонившись для равновесия к тумбочке, он одевается, путаясь в брюках, едва не упав при попытке засунуть левую ногу в штанину. Рубашка в крови, поэтому он набрасывает пиджак поверх бледно-зеленой больничной пижамы и застегивает его посередине. На глаза ему попадается собственное отражение в окне. Если честно,

вид у него слегка помятый. Темный порез над глазом. Рукав пиджака оторван выше локтя. И все же надо — значит, надо. Выглянув из-за дверного косяка, он на цыпочках пробирается по коридору, бормоча себе под нос: Юттоксетер, Юттоксетер.

Тревожит то, что никто его не останавливает. Когда он идет через приемный покой реанимационного отделения, деловито топающие туда-сюда медсестры и утирающие со лба пот врачи, приклеившиеся к своим бумажкам, не обращают на него ни малейшего внимания. Он быстро подходит к лифтам и раздраженно ждет, пока откроются двери.

Мир снаружи, охваченный эпидемией кипучей деятельности, полыхает светом и шумом. «Скорые» резко разворачиваются на черном асфальте, жирном, блестящем от дождя и искусственного освещения, заруливают во двор, оставляют там свой груз и снова выметаются в ночь. По лестнице главного входа движутся охваченные лихорадкой участники народной процессии: отдежурившие врачи, экстренно вызванные обратно, первые из родственников, невидяще бредущие навстречу бог знает чему, рассредоточившиеся повсюду журналисты и всякая медийная шпана. Эти последние сообща-

ют количество смертельных случаев, оглашают списки раненых, вещают о том, кто виноват, справится ли больница… Кристиан пригибается за живой изгородью, дождь хлещет ему в спину, просачивается к жуткой пустоте пониже плеча. Бежит он странно, по-крабьи, не разгибаясь, все глубже ныряя головой, держась изгороди, огибающей двор по периметру. Ему тяжело оставаться в скрюченном положении, но адреналин, циркулирующий в теле, стирает даже самые смутные грани бесформенной физической боли; мучительно-острой она станет позже, когда истечет действие лекарств. Нельзя допустить, чтобы его увидели врачи, а уж эти газетчики — тем более.

Такси, поймать такси. Уютное теплое такси, где он сможет подремать и собраться с мыслями, такси с таким ванильным освежителем воздуха в виде маленькой картонной сосенки над приборной панелью, с дружелюбным, но не слишком навязчивым водителем. Ему нужны деньги, банкомат можно найти по дороге. Ах да, еще ему необходим телефон. Позвонить Анжеле.

Но где конкретно он находится? Он проклинает себя за то, что не ознакомился получше с географией центра Кембриджа, перед вступлением в связь не подготовился как следует к тревоге, к

чрезвычайному происшествию вроде госпитализации и потери конечности. Это на него не похоже, думает он, подобная беспечность.

Он идет вдоль широкой магистрали, которую с обеих сторон обступают широкие фасады викторианских вилл серого кирпича. Впереди, справа по ходу, на некотором расстоянии виднеются огни центра города. В какой стороне север? Поток машин и «скорых», подъезжающих к больнице, до которой ярдов триста, движется справа. Катастрофа произошла к югу от Кембриджа, так что ему, очевидно, надо поворачивать налево. По идее, север там. Мелкий дождик брызжет ему в лицо, до какой-то степени обостряя мыслительные способности, но вместе с тем вызывая вспыхивающую, дергающую боль в левом плече. Приложив руку туда, где должна быть другая, он прикрывает забинтованную культю, подвернув оборванные края рукава, а после шагает, ежесекундно оборачиваясь, рыская взглядом по дороге сзади в поисках приближающегося такси.

Тут он видит телефонную будку на другой стороне дороги.

Зажав под подбородком трубку, с непривычки теряя при этом равновесие, он пихает в щель двадцать пенсов и набирает номер мобильника

Анжелы. Он скажет ей, что все еще находится в Юттоксетере по причине неполадки с поездами. Про руку ей говорить нельзя, поскольку она занервничает, засуетится, начнет звонить туда-сюда, и его обман немедленно выплывет наружу.

Соединение сопровождается размытыми помехами.

— Алло, дорогая, — говорит он, — у меня тут проблема…

— Хигрипли игр-р-р… велосипедрила гамбит тетраэдр, — говорит Анжела в промежутках между ослепительно-яркими всплесками белого шума.

Кристиан кричит в дурно пахнущую трубку:

— У меня неприятности… Ты меня слышишь, нет?.. Я еще в Юттоксетере…

— Кришнан Гуру Мурти… желчный концептуальный феркегезампель, — отвечает Анжела, после чего связь прерывается окончательно. Измученный, слегка взмокший от усилий, он вешает трубку.

Но по крайней мере он ей позвонил. От ее голоса — даже от этой искалеченной электроникой имитации — он испытывает прилив любви и томления, длящийся секунду-другую. Но слыша-

ла ли она его? Раздумывая об этом, он замечает на стенке возле телефона наклейку с рекламой компании такси. Называется «Сити карз», предлагает свои услуги круглосуточно. Сообщается, что он может, если ему угодно, заказать специальный лимузин, оснащенный мини-баром и телевизором, а также белый свадебный лимузин. Он набирает номер.

— «Сити карз», — говорит мужской голос.

— Машину вызвать можно?

— Ждать придется около часа, приятель. Понимаешь, тут сплошной кавардак, с этим поездом…

— Но мне в Стаффордшир нужно.

— В Стаффордшир?

— Да.

— Куда в Стаффордшир?

Кристиан делает паузу. Где там ближайшая больница? Дерби? Юттоксетер? Сток? Еще одна прискорбная оплошность в подготовке. Ну почему он как следует все не продумал?

— Сток, — отвечает он.

Мужчина просит его подождать минутку. Кристиан слышит стук положенной рядом с аппаратом телефонной трубки, а вслед за тем:

— Значит так, приятель, до Стока сто тридцать фунтов.

— Хорошо, — говорит Кристиан.

— Машина придет минут через десять максимум. Ты где?

— Э-э-э… возле кембриджской больницы. На большой дороге. Рядом с этими телевизионщиками.

— Теобальдс-роуд. О'кей. Там и жди, у телефона, сейчас приедем.

Бум-бум-бум, играет музыка в машине. Бум-бум-бум, отзываются голова, шея и плечи Кристиана.

«А щас — заводная музыка говорит норфолкское Би-би-си для тех кто не спит в эфире немерено тяжелое гаражное, домашнее, садово-огородное мультитехно для всей честной тусовки Восточной Англии, южного Лестершира, западной оконечности Нортхэмптоншира — вплоть до Ундла и Рокингем-Форест, бывших Хантингдоншира и Линкольншира, короче прям до самого Уоша. Передаем для Милли, Терезы, Галилео и радикала Лоустофта Посси — але, вы слушаете? — не теряйте крутизны, братва, для вас играет самый забойный хит группы „Формал Гравадлакс Интифада": „Звать меня Эрном", просто супер, щас… э… блин, я ж Северный Эссекс забыл…»

О чем это он, удивленно размышлял Кристиан под скачки машины, вибрирующей в такт

идиотской песне. Может, все дело в сотрясении мозга, когда не удается расшифровать связную, по идее, речь. Может, в этом и состояла трудность со звонком Анжеле: не она несла бессмыслицу, а в его мозгу щелкнул какой-то выключатель, и все загрузилось неправильно. Кристиан потел и неловко ерзал на сиденье под «Формал Гравадлакс Интифаду», бьющую из встроенной квадрофонической системы сзади, снизу и сбоку от него. Вместо ванильного освежителя воздуха на приборной панели имелась лишь палочка для канапе с приделанным к ней пакистанским флагом.

— Вы не могли бы громкость немного уменьшить, — попросил Кристиан водителя, парнишку-азиата, который до сих пор ни разу с ним не заговорил, только потребовал деньги вперед. Кристиан сказал, что ему нужно к банкомату, и водитель сразу отвез его к отделению «Вулича», а после наблюдал, как тот борется со своим бумажником.

— Ага, извини, командир. Заснуть боюсь, — сказал парень.

— Я просто слегка расклеился — к непогоде, что ли.

— Ну да, я что, не вижу — руку потерял.

Таксист щелчком совсем выключил радио, открыл окно и до упора нажал на газ. Мокрая дорога зашипела подобно тысяче змеек, водитель принялся бормотать себе под нос припев из пяти нот «Звать меня Эрном», а Кристиан погрузился в тошнотворную дремоту, где его обступили несущие бред существа, красные и черные, маленькие сердитые дьяволята с мерзкими вилами, да мерцающие белесые огни.

Проснулся он на перекрестке — там, где A511 пересекается с A42, возле старого шахтерского городка Эшби-де-ла-Зуш, в северном Лестершире — от внезапного ужасного подозрения. Ему приснился нескладный и туманный сон, рожденный в каких-то потайных закоулках мозга. Во сне он видел Анжелу. Она готовила Марте завтрак, тут ее что-то (он не мог вспомнить, что именно) рассмешило. Смеется она громко, заразительно, при этом ее глаза оживают, а потом сужаются и иногда от хохота наливаются слезами. Кристиан особенно любил Анжелу в минуты, когда та смеялась; он подвинулся во сне, чтобы обнять ее, но из-за отсутствия руки не сумел, а вместо того погладил ее по плечу и похлопал своим запасным рукавом. Потом она села и стала читать газету.

Твою мать! Газета!

Кристиан обливался потом в густом тепле машины. Он заметил, что от подмышек у него идет странный и неприятный хлористый душок.

— Давайте вернемся.

Водитель взглянул на него сбоку.

— Что?

— Простите, но нам необходимо обратно в Кембридж. Поскорее. Вы тут развернуться сможете? Кругом на перекрестке и обратно, откуда приехали, той же дорогой.

— Зачем обратно-то? Уже больше полпути проехали.

— Прошу прошения. Нам нужно вернуться. Я кое-что забыл.

— Чего забыл?

— Руку свою.

Водитель притормозил и вырулил на обочину. Развернулся в кресле лицом к Кристиану.

— Слушай, — сказал он. — Короче, я не понял, что там у тебя за фигня с рукой. Но с тебя сто тридцать отсюда до Кембриджа, по-любому.

В его лице не было ни сочувствия, ни понимания.

— Хорошо, не волнуйтесь. Вы меня подождете минут пять у больницы, а потом снова поедем обратно в Сток.

До Кристиана дошло вот что. Средства массовой информации проявят безмерный интерес к катастрофе — а также к тем, кто в ней уцелел. В какой-то момент, возможно, через несколько дней после начала освещения событий, кто-нибудь сделает репортаж о странном случае с невостребованной рукой в Кембриджской королевской больнице. Будут опубликованы многочисленные фотографии руки. С подписями типа «Случайно не Ваша?». Анжела вполне может *опознать его руку по газетной фотографии.* И тут начнется. Вдобавок, последний раз руку видели держащей его мобильный телефон. Даже если она не узнает руку на снимке или не сочтет особенно подозрительным тот факт, что ее спутник жизни потерял руку, а все газеты как раз оповещают о какой-то руке, то уж номер-то мобильного, который, несомненно, напечатают рядом с фотографией в помощь идентификации, она наверняка вспомнит. Имя тоже, конечно, укажут — Чарльз Баббидж, но этим ее надолго с толку не собьешь. Все станет ясно, как дважды два четыре. Она поймет, что это его рука.

Когда машина развернулась и устремилась назад по A511, по направлению к МП, маленькие электронные часы на приборной панели

показывали 2:46. Боль словно дротиками начала простреливать Кристиану плечо, повязка вокруг обрубка руки засветилась розовым. Он попытался уснуть, но стоило ему закрыть глаза, как эти невнятно бормочущие красные и черные демоны битком набивались ему в голову. Теперь они скалили зубы по поводу его руки, вонзая в него свои страшные вилы. Где твоя рука, Кристиан, спрашивали они, гогоча и орудуя вилами. Он крепко закрыл глаза, чтобы не видеть их, и сосредоточился на Анжеле: вот Анжела тычет его в бок, поднимая утром с постели; вот она улыбается ему, когда он возвращается с работы домой, к этому привычному «преткакдела», которое он мечтает, страстно желает услышать снова.

Атмосфера в больнице тем временем заметно успокоилась. Телевизионные грузовики почти все уехали, исчезла тоскливая вереница «скорых» во дворе. Событие исчерпало себя, страсти улеглись. Начиналось второе, более опасное действие железнодорожной трагедии. Время логически взглянуть на происшествие, властям пора приступать к поискам виноватых, и так далее.

Кристиан заплатил водителю сто тридцать фунтов и сказал ему подождать. В приемном покое больницы он появился, чувствуя себя

спокойнее, чем на самом деле полагалось бы. Молодая девушка в светло-голубой форме, с именем «Ивонн Шеперд» на приколотом к груди значке подняла на него глаза, машинально отметив отсутствие руки, испарину и кровь, начинающую проступать через бинты пониже плеча.

— Здравствуйте. Чем я могу вам помочь?

— Я страшно тороплюсь. Я хотел бы, чтобы мне вернули мою руку, которая, по-видимому, все еще у вас.

— Вашу руку?

— Да. Я попал в железнодорожную катастрофу, в ходе которой мне оторвало руку. Прошу вас мне ее вернуть. Я понимаю, что эта просьба может показаться несколько странной.

Медсестра молчала.

— Нельзя ли поскорее. Меня ждет на улице такси.

— Фамилия ваша…

На ее вопрос тут же ответили.

— …мистер Баббидж!

Врач, ранее говоривший с Кристианом, тот самый, с зачесанными назад волосами, который разрушил его надежды, сказав, что руку ему смогут пришить лишь через несколько дней, внезапно вырос сбоку.

— Вы понимаете, что делаете, черт побери?

Оцепеневший врач в ужасе уставился на него.

Говорить Кристиану становилось все труднее — силы быстро вытекали.

— Здравствуйте еще раз, доктор. Я ненадолго, вот только руку заберу и пойду своей дорогой.

— Вы что, шутите? Это совершенно исключено. Посмотрите: вы же кровью истекаете. Вы умрете, если не вернетесь на свою койку. Мы вас с полицией разыскивали! С ума вы, что ли, сошли?

Кристиан помолчал.

— Не сошел. Я ценю вашу заботу. И все, что вы для меня сделали. Но мне необходимо уйти. У меня нет выбора. И я хотел бы взять свою руку с собой. В конце концов, это моя рука.

Доктор покачал головой.

— Это больше не ваша рука. Теперь это наша рука. Она стала нашей с тех пор, как была отделена от вашего тела и доставлена в эту больницу в пакете из «Сейфуэя». У вас нет никаких законных прав на владение вашей рукой.

Кристиан закрыл глаза. Почему все оборачивается против него, как в сговоре?

— Прошу вас, — сказал он. — Пожалуйста, отдайте мне мою руку.

— Что вы с ней собираетесь делать?

— Я собираюсь взять ее в Юттоксетер.

— Зачем?

— Я знаю одного человека. В Юттоксетере. Знаменитого хирурга, специалиста по рукам.

Сестра Шеперд хихикнула.

— Что вы такое несете? — задохнулся врач.

— Он, э-э-э, очень хорошо разбирается в конечностях. Обратно их пришивает. Мой старый школьный друг.

— Как его зовут?

Кристиан на секунду задумался.

— Гейтс. Билл Гейтс. *Доктор* Билл Гейтс.

— Я вам не верю. Я вам просто не верю. Послушайте, мы можем восстановить вам руку. Понимаете? Но если вы уйдете сейчас, то со всей вероятностью умрете. Кровотечение усилится — швы эти у вас на плече временные. У вас шок, вы очень серьезно ранены. Послушайте, я не знаю, почему вы ведете себя как ненормальный, но, как бы там ни было, никакие последствия не могут оказаться хуже смерти, правда? Руку вашу, мистер Баббидж, мы вам не отдадим.

— Та-ак, — ровным голосом протянул Кристиан в ответ. — А мобильный-то хоть можно обратно получить?

Сестра снова хихикнула.

Несколько мгновений доктор смотрел на него в упор, потом махнул медсестре рукой.

— Ой, да отдайте ему его чертову руку. Баббидж, вы умрете.

Кристиан обшарил двор взглядом в поисках своего таксиста. Но таксист как будто бы пропал вместе с его ста тридцатью фунтами. Кристиан нес (в правой руке, естественно) свою левую руку. Она лежала в полиэтиленовом пакете, обложенная кубиками льда. Там же был и телефон, правда, нефункционирующий, поскольку в больнице его положили вместе с рукой, так что он пропитался водой и кровью и теперь, когда Кристиан попытался им воспользоваться, издал лишь раздраженный писк. При каждом шаге его пронизывала боль. Что мне теперь делать, размышлял он. Только ни в коем случае не думайте, что он упустил из виду возможность сознаться во всем Анжеле. Но данная перспектива выглядела на порядок хуже всего остального, что он способен был себе представить.

Помимо всего прочего, у Анжелы был заскок, причем серьезный, связанный с людьми, у которых ампутирована конечность. Они ей были чрезвычайно неприятны. Она многие вещи не особенно любила, быть может, без каких-либо

рациональных на то причин. Потроха, например. Джазовую музыку. Рождественские повторы «Моркэма и Уайза» и «Двух Ронни»[13], в особенности Корбетта. Они наводили ее на мысли о том, какая она старая. Суши, гуси и анальный секс ей тоже не слишком-то нравились. Но ампутанты, те по-настоящему действовали ей на нервы. Он вспомнил, как однажды бросился переключать телевизор только из-за того, что там брали интервью про пехотные мины у какого-то безногого бедолаги. Ампутации внушали ей ужас.

Но она, конечно, не бросит Кристиана только потому, что его угораздило потерять руку. *Для этого ей понадобится повод.* А его неверность как раз и обеспечивает идеальный повод.

Так, значит, в Юттоксетер. Он пошел назад по Теобальдс-роуд, мимо телефонной будки, под сырым безлунным небом, держа курс на северо-запад. Полиэтиленовый пакет начал протекать. Розоватая водянистая жидкость оставляла за ним след на тротуаре, смешиваясь у него за спиной с красными каплями потемнее. Повязка и подоткнутый рукав пиджака насквозь промокли. Земля под ногами утратила свою обычную успо-

[13] Примечания: 13

Развлекательные телепрограммы Би-би-си, пользовавшиеся популярностью в 60-х и 70-х годах.

каивающую твердость, уличные фонари мигали и колыхались в воздухе перед глазами.

Боль занимала теперь бóльшую часть его мозга. Он не мог думать ни о чем, кроме боли — она заполнила собой все, целиком захватив над ним власть. Почти. Он был способен лишь иронически размышлять о своем затруднительном положении да о страшных психологических травмах, постигших в свое время Алана Тюринга. Мне, может, и трудно, рассуждал про себя Кристиан, зато я хоть не педик латентный.

По крайней мере, видно, до какой степени я люблю Анжелу, на что я готов пойти, лишь бы уберечь ее, правда же? Думаете, я для себя стараюсь, осведомился он у воображаемой аудитории. Это все ради Анжелы. Этот ее смех, когда глаза сужаются и вокруг них появляются морщинки. И ее манера плакать: лицо медленно застывает в молчании, губы растягиваются в широкой горестной гримасе, появляются слезы, поначалу беззвучные. Да, он отдал бы свою левую руку, только бы этого не видеть. Левую руку и многое сверх того. Нельзя обременять ее невзгодами, проистекающими из собственных грехов. Что угодно, только не это.

Потом, после нескольких сотен ярдов, его засо-

сала мерцающая чернота, и боль словно спала или, во всяком случае, потеряла значение. В детстве ему снился сон, кошмар, где ему стреляли в живот, а вместо боли внутри возникало только чувство опустошения да невыносимая тяжесть. Нечто подобное навалилось на него и сейчас, и он опустился на колени на покачивающемся тротуаре, думая: дайте мне поспать, просто поспать, и все. Остальное я могу и утром сообразить. Мне нужны силы, чтобы думать. Если я тут посплю… он слегка приподнял голову.

Дорога была черна; все вокруг спали. Уснуть! Может быть, если найти комнату, где удастся полежать хотя бы несколько часов…

…и вот, глядите, в доме неподалеку загорелся одинокий огонек в окне наверху. Кто-то не спит. Кристиан пополз на свет. Кровь, черная и густая, хвостом тянулась за ним. Помогите, услышал он свой плачущий внутренний голос, помогите мне.

Не думал я, что вот так это произойдет, прошептал он сам себе, когда дверь перед ним наконец открылась.

Больничные власти обещали вернуться за рукой, но так и не вернулись. Сотрудники «скорой» велели Грэму положить ее в морозилку. Там она

и лежит до сих пор.

СВЕТИТ МЕСЯЦ

На местном канале Би-би-си — вечерние новости. Обращаясь к камерам, Кенни Дуглас умоляет о возвращении своей жены Николы. Рядом с ним на диване что-то лепечет их единственный ребенок, трехлетний Дэнни: глаза как в диснеевском мультфильме, копна черных волос. Благодаря присутствию здоровенного полицейского, техника-осветителя, симпатичной юной репортерши и толстого красноглазого журналюги из агентства новостей Дэнни осознал наконец всю опасность своего положения. Самого по себе отсутствия матери, исчезнувшей почти неделю назад, оказалось не вполне достаточно, чтобы вселить в него это ощущение.

— Где мамочка? — горько спрашивает он в самый подходящий момент.

Действительно, где? Следователь, стоящий за кадром, сбоку от Кенни, непрестанно излучает сочувствие и легкую тревогу, но горстка его сотрудников уже отправилась прочесывать железнодорожные насыпи, лесопарки, проходы и помойки Камберуэлла, Денмарк-Хилла и Далича.

— Ники, Ники, вернись домой; где бы ты ни

была, вернись домой, к нам с Дэнни, — в третий раз хрипит Кенни в камеру. Никак ему не дается правильный ритм, тембр голоса. Правда, они, телевизионщики, проявляют терпение — понимают, что он в ужасном состоянии. Представляешь, каково ему, говорят они друг другу, глядя, как Кенни проводит рукой по волосам, свалявшимся от пота в свете мощных телевизионных софитов.

Никола «ушла из дому», даже записки не оставив, все это как-то непонятно — и вот, пожалуйста, в дело вмешалась полиция. Морис, отец Кенни, сидит на кухне, подальше от журналистов, а позже сообщает полицейскому, что все это, на его взгляд, пустая трата времени. Чего зря болтать — сбежала с мужиком и обратно не вернется.

Он что, правда так считает? Да быть этого не может!

Ибо у нас, у всех остальных, кто смотрит передачу дома, возникает один-единственный вопрос: когда же Кенни предъявят обвинение? Ну, может, еще дополнительный: какой толк от этой девяностосекундной теледрамы? Разве что дать местному населению возможность посмотреть на преступника, пока ему на голову не набросили

одеяло.

Поможет ли это полиции? Они со своей версией практически определились. Конечно, официально дело пока открыто, но, по мнению следователя и его подчиненных, роющихся в кустах и мусорных баках, двери неотвратимо закрываются. Так зачем эта экранизация? Каких они ждут улик? Недостаточно искренних рыданий? Необдуманной реплики, оброненной Кенни за кадром, возможно, в разговоре с отцом? Внезапно выболтанного признания — реакции, вызванной исповедальным стилем телепередач и тем предвкушением, которое испытывают зрители, сидящие дома за едой?

Не вполне ясно также, какой нам, зрителям, или вуайеристам, от всей этой истории прок. Не столько «новости», сколько чернуха, то ли хитро замаскированная шутка, то ли констатация очевидного. А истинный пафос ситуации — явное непонимание и слезы Дэнни, ваза с увядшими тюльпанами на столе за спиной у этих двоих, мячик яркой расцветки на полу, их фотографии втроем — Кенни, Никола и Дэнни — на полочке сборной стенки слева в кадре — это всего лишь эмоции, обломки крушения семейной жизни.

Бедная Никола. Пять дней, как пропала, у дру-

зей, насколько известно, не появлялась — вообще никаких контактов ни с кем из знакомых. Или хотя бы прежде незнакомых. Короткая запись заканчивается кадром с фотографией Николы крупным планом: смеется, голова запрокинута, темные волосы свесились за спину, снимок сделан во время их последнего отпуска на Санторини. На заднем плане едва различим черный, вулканического происхождения песок.

Насколько оба они были тогда счастливы? Предчувствовали ли, что их ожидает? По тонким полоскам у Николы на плечах можно догадаться, что она носила бикини. Купалась ли она? Купались ли они вместе, брызгаясь, валяя дурака? Смех, ухваченный на снимке, — был ли он искренним или вымученным ради семейного фотоальбома? А Кенни — по-видимому, это он снимал в тот раз, — он-то о чем думал, сгорбившись с фотоаппаратом в руках, все наблюдая, наблюдая за ней? Пытался ли выдавить из себя ответный смешок во время ежедневных прогулок на пляж и обратно, в ресторан, в бар — провести вечер за «Ретсиной»[14] и легкомысленной отпускной трепотней? Или счастье в тот отпуск

[14] Примечания: 14

«Ретсина» — самое известное критское вино, обладающее ярко выраженным запахом и привкусом смолы.

было настоящим, несмотря на темноту за кадром? В общем, хотелось бы надеяться, что нет. Так что же Кенни: постоянно нервничает, не знает, как быть, как сделать, чтобы все прошло гладко? — интересно все-таки размышлять над серьезностью его положения.

Кенни почти сразу признался полиции в том, что у него давно завязался роман с другой женщиной, певицей ночного клуба по имени Текила Мокингбёрд — ситуация довольно экзотическая. Где эти двое, Кенни и Текила, встретились, пока не выяснено, но что встретились, это точно, — и продолжали встречаться года два, если не больше, с перерывами.

Текила выступает с популярной кантри-музыкой и песнями из вестернов в каких-то местных пабах и частных клубах — может, там-то они и замутили, в один из ночных загулов Кенни. Свой выход она обычно заканчивает старой, всеми любимой вещью, «Покрывалом на земле». Взбираясь все выше и выше по этим ступенькам к далекому хору, Текила хватает песню и сворачивает ей шейку. Возьму из спальни покрывало, и снова мы с тобой пойдем на речку, к месту, где, бывало, любовь делили мы вдвоем. Хоть теперь мы и женаты, поваляться нам не грех… погодите-ка,

Текила, Кенни, там ведь *прогуляться* было, а не поваляться. Сколько их, британцев, незнакомых с разнообразием используемых в американском жаргоне сексуальных эвфемизмов, к тому же введенных в заблуждение гнусавым, во весь рот, южным выговором Билли Джо Спирс, которые совершенно неправильно поняли указание! На самом-то деле песня — о том, как это важно, чтобы сексуальное влечение или, выражаясь менее строго, романтические отношения победили отчуждение и скуку, нередко возникающие в браке. Но есть в ней и предупреждение: для того, чтобы не дать умереть главному, как бы оно там ни называлось, необходимо уметь играть роль. Роль столь же сложную, как и та, которую сейчас играет Кенни, обливаясь потом, бегущим у него по шее с затылка, и обхватив одной рукой своего все больше и больше смущающегося, испуганного ребенка.

Итак, Кенни, возможно, услышал эту песню в исполнении Текилы, и так или иначе, но слова дошли до него, задели какие-то струны — впрочем, если поразмыслить, струны малопонятные. Многочисленные друзья все показали, что Кенни был абсолютно предан Николе и Дэнни — хотя, по-видимому, недостаточно предан, чтобы не

изменять ей. Но зато, как мы можем догадываться, предан достаточно, чтобы ставить понятие преданности выше самого человека, которому он предположительно предан, — и значит, чтобы считать перспективу ранить чувства Николы худшим из преступлений, а шок расставания с ней (и с Дэнни, конечно) — невыносимой душевной травмой. Какая вообще разница между преданностью и верностью? Так чего же Кенни боялся больше: реакции Николы на его роман или болезненной необходимости прекратить либо те, либо эти отношения? И до какой степени Кенни в своем затруднительном положении учитывал, или пытался предугадать, мнения Николы и Дэнни? Можно считать, что эти двое не имели никакого влияния на последовавшие в конце концов события — более того, оба возразили бы против такой развязки, будь им предоставлено право протеста. Нам известно, что Кенни — человек довольно чувствительный, хоть и не очень умный — роковая комбинация. Мы можем на ощупь добраться до его окончательных доводов, они ведь нам теперь так хорошо знакомы: их появление на наших телеэкранах и в газетах — вещь сокрушительная в своей регулярности.

«Я ни за что не смог бы причинить Николе

боль», — говорит он следователю после съемок этой небольшой постановки для вечерней программы новостей, вроде бы ни с того ни с сего. И это в каком-то смысле правда. Все, что нам осталось узнать — это как он ее убил и где спрятал тело.

ВКУС «МАРМАЙТА»

Бывшая подруга Мика, Хелен, страдала необычным заболеванием, придававшим ее коже отчетливый, сильный вкус — что-то среднее между вустерским соусом[15] и «Мармайтом»[16].

Мик не знал, в чем тут причина — то ли что-то кожное, то ли эндокринного характера, то ли просто с питанием связано, — а обсуждать эту тему стеснялся и потому никогда ее не затрагивал. Но облизывать девушку, от крохотных трепещущих волосков на затылке до самых ступней маленьких ног, было сплошным удовольствием. Наиболее насыщенным вкусом обладали складочки и отдушины, служившие входами в тело Хелен, самым слабым — пальцы и колени.

Мик этот вкус обожал. Это было именно то, чего ему сильнее всего не хватало, когда они расстались, самая любимая и желанная из ее особенностей. Хелен была, пользуясь американским выражением, шизанутой не хуже крысы

---

[15] Примечания: 15
Worcestershire sauce — пикантная приправа.

[16] Примечания: 16
Marmite — паста для бутербродов с резким солоноватым вкусом.

из нужника — девушкой экстравагантной до умопомрачения, что являлось главной причиной частых напрягов и проблем в их отношениях. Сдай ты ее в психушку — ей же лучше будет, говорили друзья Мику после какого-нибудь тяжелого эпизода в ресторане или баре, там ее накачают таблетками, назначат электрошоковую терапию, может, даже прооперируют, а там, глядишь, и с кожным заболеванием разберутся. Но Мик считал, что так недолго и переступить пределы собственной ответственности, нарушить суверенитет. Они прожили вместе месяцев шесть, а потом в один прекрасный день она ушла, ничего не объяснив, забрав из шкафа все свои вещи и оставив лишь туманную, слегка зловещую записку на кухонном столе: «Мик, „Гаджию“[17] чистить не пытайся». Маразм крепчает, подумал он, но «Гаджию» все-таки оставил в покое.

На самом деле с Хелен произошло вот что. Както вечером, когда Мик уехал на какие-то курсы по продаже программного обеспечения, Хелен обнаружила, что в их открытой планировки кухне обрел пристанище посланник Сатаны. Она пришла с работы домой, сгибаясь от усталости, а

[17] Примечания: 17
Gaggia — марка эспрессо-машины.

бес был уже тут как тут, в образе неукротимого водоворота зла, высотой около четырех футов, облаком зависшего над выложенным мексиканской каменной плиткой полом. Все признаки Сатаны были налицо: вонь экскрементов, холод, пробирающий насквозь до онемения, внезапное ощущение надвигающегося разложения и хаоса, безнадежности и распада. Когда она осторожно приблизилась к кружащейся темной массе, вращение заметно ускорилось, и материализовавшийся крохотный бесенок, зеленый, с пустыми красными глазами, юркнул под разноуровневую плиту фирмы «Занусси», отчего искры мотыльками заплясали над белыми керамическими конфорками.

Оттуда, из-за кухонного прибора, он заговорил с ней.

— Имя мне — легион, ибо нас много, — вот что поведал он ей тоном вполне уравновешенным.

Услышав такое, она не стала двигаться дальше, позвонила, зажав рукой нос, Митчеллу, соседу снизу, и принялась ждать его, забившись в угол гостиной, нервно прикладываясь к стакану «Сансера», оставшемуся с прошлого вечера.

К приходу Митчелла облако зла исчезло, но вонь и холод остались, а одна из плиток, над кото-

рыми кружился дьявол, была опалена до черноты и до того горяча, что к ней до сих пор невозможно было прикоснуться. По мнению Митчелла, запах шел от протекавшей неподалеку реки, густой и черной, как нефть, а холод объяснялся выключенным центральным отоплением. Свои нехитрые наблюдения он, однако, решил держать при себе, так как уже несколько раз сталкивался с Хелен и потому знал, что на особый успех рассчитывать тут не приходится. Плюс к тому, он не мог найти объяснения плитке; что — за исключением, возможно, исчадия ада — способно опалить мексиканский красный гранит? В этом Митчелл с ней согласился. Не вполне понимая, что делать дальше, он стоял в гостиной, пока она пила вино, и бесцельно размышлял о том, с чего это вдруг черта понесло в Южный Доклендс и какая же вселенская скука его, должно быть, обуяла.

По прошествии долгого времени Хелен поставила стакан с вином и, легонько тронув Митчелла за плечо, шепотом сообщила:

— Он все еще здесь…

Митчелл кивнул и почесал в затылке.

— М-м-м… где конкретно?

— По-моему, в соковыжималке.

Митчелл осторожно глянул на прибор, сияю-

щий медью и хромом на стальном разделочном столе, и сказал, что ничего не видит. Хелен пожала плечами и отошла.

— Ну, не знаю, значит, исчез. Какая разница? Вернется рано или поздно.

Митчелл снова кивнул.

— Ну ладно. Но если он опять, это самое, проявится, ты смотри, сразу же мне скажи — я быстренько подойду разобраться. Со всеми причиндалами: «Мистер Масл»[18] там и прочее.

— Спасибо, Митч, — сказала Хелен, провожая его к двери. — Ты мне так помог.

На следующее утро Хелен лежала в постели, ожидая возвращения дьявола. Услышав шум в кухне, она не сочла его достаточным поводом для беспокойства: не всякий шум неизвестного происхождения обязательно оказывается дьявольщиной. Иногда, думала она, мир чуть-чуть накреняется на своей оси, вещи начинают скользить туда-сюда и, бывает, сталкиваются. В гостиной зазвонил телефон — ясно было, что это тоже не черти, а, скорее всего, Мик, звонит с курсов по продаже узнать, как у нее дела. Или, может, с работы кто, поинтересоваться, куда она

---

[18] Примечания: 18
Mr Muscle — серия чистящих средств.

подевалась.

Потом в квартире все стихло.

Задремав, она отплыла в свой накренившийся мир, а в полдень ее разбудил телефонный звонок, на который она решила не отвечать. Одевшись, но не умываясь, она присела на белый диванный подлокотник понаблюдать за кухней в преддверии возможных признаков того, что дьявол по-прежнему тут.

Так она просидела час или дольше, глядя в основном на «Гаджию», на миксер с соковыжималкой и на дорогую, малоэксплуатируемую посудомоечную машину «Хотпойнт». После долгого ожидания по центру проявилось поросшее коричневой шерстью существо с раздвоенными копытцами и яростно начало обшаривать холодильник, видимо, в поисках чего-нибудь съестного.

Оно явно чувствовало себя как дома и не обращало никакого внимания на ее присутствие, исследуя содержимое коробочек тарамасалаты и хумуса, купленных в «Марксе и Спенсере»[19], ковыряясь тонкими мохнатыми пальцами в остатках курицы, из которых Хелен намеревалась

---

[19] Примечания: 19

Marks & Spencer — универсальный магазин, где имеется отдел деликатесов.

сварить суп. Воплощение зла опять принялось изводить Хелен вонью и холодом, а миниатюрные лампочки в кухне — неоновая трубка-светильник на потолке, встроенная галогеновая лампа над плитой и малюсенькие фонарики над миксером, соковыжималкой и «Гаджией» — начали мигать, трещать и плеваться непрожеванными кусками трудно усвояемого света.

Шаря в холодильнике, бес ворчанием выражал свое растущее недовольство и раздражение по поводу каждого исследованного им съедобного предмета. Миску с чесночным майонезом он в ярости грохнул об стену, облицованную белой плиткой над разделочным столом; пакет с руколой, кудрявым цикорием и красными молодыми ростками брокколи швырнул, не оборачиваясь, в гостиную. В конце концов существо с воплем отчаяния дематериализовалось в недрах «Гаджии»; в неподвижном воздухе остался лишь клуб ядовитого желтоватого дыма.

Хелен поняла, что с нее хватит. Вернувшись в спальню, она открыла платяной шкаф и ящики комода, побросала все содержимое в три дешевых чемодана, застегнула их, нацарапала короткую записку Мику на обороте нераспечатанного счета за мобильный телефон и оставила ее на кухон-

ном столе.

Бросив последний взгляд на свое жилище, она вышла и захлопнула за собой дверь. Все происходящее в квартире шло вразрез с доступными ее пониманию принципами.

Мик, конечно, ничего этого не знал; он лишь получил записку «Мик, „Гаджию“ чистить не пытайся».

Короче говоря, теперь Мик женат на Мэнди, у которой, к его разочарованию, кожа абсолютно безвкусная, так что его теперь постоянно тянет на острое — хочется резкой пряности, исчезнувшей из его жизни вместе с Хелен. Поэтому иногда по вечерам он устраивается перед телевизором и под негромкие разрывы бомб в оранжевом дыму нынешней войны ломтями поедает гренки по-валлийски с вустерским соусом или намазанный «Мармайтом» хлеб, запивая все это чаем, и привкус сохраняется у него на губах и языке, пока он ненавязчиво облизывает Мэнди.

Но таким способом дело у него идет не особенно удачно: испытываемое при этом возбуждение не столь непосредственно, как прежде, былая привлекательность отсутствует, и ему приходится иногда отрываться от шеи Мэнди, чтобы провести языком по собственным губам и припомнить

желанный вкус.

Мэнди, разумеется, ничего не знает про историю с Хелен, а Мик не может заставить себя объясниться. В моменты наиболее глубокого раздумья у него возникают всякие мысли: почему некоторые люди напоминают что-нибудь на вкус, а другие ничего не напоминают. Эти размышления вгоняют его в нешуточную депрессию. Он теперь часто пребывает в депрессии, непонятно отчего — может, от скуки. Сидя в своей крохотной квартирке в Доклендсе, он физически ощущает, как скука пригвождает их к месту, словно ударом огромного кулака в живот. В такие моменты он думает о том, что вкус «Мармайта» — это еще не все.

Да и с Мэнди есть свои проблемы. Оказывается, она тоже со странностями, шизанутая не хуже крысы из нужника. Интересно, думается иногда Мику, а может, он сам виноват, может, это он женщин с ума сводит. По статистике две совершенно чокнутые женщины подряд человеку попадаются весьма редко — если, конечно, в нем нет ничего такого, что тянуло бы его к сумасшедшим или доводило нормальных женщин до безумия.

Как бы то ни было, в поведении Мэнди появились вещи, не поддающиеся логическому

объяснению и не оставляющие никаких возможностей для спасения бегством. Например, однажды вечером, придя домой с работы, Мик застает ее съежившейся в комок на верхней ступеньке металлической лестницы, ведущей в их спальню. Сидит там скрючившись, голова между колен, раскачивается вперед-назад, словно вот-вот опрокинется и покатится вниз по лестнице, к самому подножию. Сняв плащ, Мик так и остался стоять в коридоре, глядя снизу вверх на Мэнди и не зная, что же ему делать; а та не двигалась с места, только все раскачивалась: вперед-назад, вперед-назад. Он подумал было, может, стоит подняться к ней, поговорить, спросить, зачем она так делает, какой во всем этом смысл, но тут же решил, что лучше не вмешиваться. Либо сама прекратит, либо так и будет сидеть, вперед-назад раскачиваться. Не одно, так другое. В общем, Мик со странным, слегка покалывающим ощущением, как будто за ним наблюдают, проходит в дом, берет себе пива из холодильника «Нефф» и, стоя посреди кухни, нервно пьет и размышляет над происшедшим.

Конечно, через пару часов Мэнди спокойненько спускается по лестнице, молча, как ни в чем не бывало, берет книгу и начинает читать. К тому

времени Мик уже успел включить ТВ, так что у него нет прямого повода устраивать расспросы про всякое раскачивание вперед-назад в скрюченном виде, особенно теперь, когда все вроде в порядке — сидит себе, читает.

По правде говоря, это чтение беспокоит Мика больше, чем сидение на лестнице. Она теперь взяла моду читать постоянно, днем и ночью, и все бы ничего, если б не выбор: как правило, что-нибудь из отдела для полоумных в местном книжном. Ладно бы еще Джейн Остин, или Хелен Филдинг, или что там женщины обычно читают. Габриэль Гарсиа Маркес. Скотт Фитцджеральд. В общем, понятно. Но нет, всегда какие-то «Был ли Бог дельфином?», или «Тайны рунической Англии», или «Раковый заговор. Кому и зачем нужна наша смерть», или «Каббалистика для начинающих», и прочее в том же духе.

Мик этого опять-таки не понимает, он считает, что лучшая политика — политика невмешательства, но иногда, сидя на диване и наблюдая, как она читает, склонив голову над книгой и ничего вокруг не замечая, он чувствует, что она — из какой-то другой вселенной, где время течет иначе. Кажется, стоит только легонько похлопать ее по плечу, и она улетит, вращаясь вокруг своей оси,

в глубины космоса, за пределы досягаемости, а может, навсегда исчезнет в какой-нибудь черной дыре — она и на эту тему время от времени кое-что почитывает. «Разгадка тайны черных дыр». «Как постичь пространственно-временной континуум, не выходя из собственной спальни». «Дыры-червоточины. Руководство для начинающих».

Когда она читает, а по телевизору нет ничего интересного, и с друзьями — Ади, Софи, Колетт, Троем, Твикс (когда та приезжает из Гваделупы) и др. — тоже не потусоваться, то он размышляет об их совместной жизни: кто виноват в скуке и в том, что все идет наперекосяк, как можно объяснить сдвиги, происходящие дома, почему у нее иногда просто конкретно едет крыша, и так далее. И приходит к выводу, что не виноват никто, даже он сам.

Он вот еще в чем не может разобраться: то ему кажется, что он до сих пор влюблен в свою предыдущую подругу, Хелен, а то думает, да чего там, все дело в «Мармайте». Любовь или «Мармайт»? Черт, трудный вопрос.

На самом деле ему хочется немного поизменять жене, но это невозможно: от такой перспективы он впадает в ужас и сразу отметает всякие серьез-

ные размышления на эту тему, в особенности после всего, что произошло в тот жуткий последний раз. Идея изменить Мэнди ему противна; задумываясь об этом он неизменно представляет себе обиду и непонимание на ее широком, плоском лице. Кроме того, он в некотором роде против неверности по сложным идеологическим причинам, восходящим, как он смутно припоминает, к теории Карла Маркса. Но и здесь не все так просто, поскольку он также против буржуазных принципов собственности и моногамии, а значит, рудиментарный хвост его революционных убеждений вряд ли поможет ему в поисках выхода из данного затруднения.

Как-то раз они сидят дома, Мик — развалившись без дела и почитывая местную газетку, Мэнди — уткнувшись носом в очередную книжку, как вдруг Мик вспоминает, что у нее скоро день рождения, и спрашивает, что бы ей хотелось в подарок.

Подняв глаза от книги, она улыбается ему и отвечает:

— Ускоритель элементарных частиц.

Мик делает глубокий вдох, хмурится, минуту-другую обдумывает ее слова и говорит:

— Ускоритель элементарных частиц? Ты серьез-

но? Это же вроде довольно большая штуковина.

Тут Мэнди откладывает книгу и говорит, оживившись впервые за весь вечер:

— Нет, теперь уже нет, не обязательно. Сейчас можно достать такой, чтобы в чемодан помещался. Их стали делать гораздо более… компактными.

— А-а-а… — больше Мику сказать нечего, и они какое-то время молчат. Потом он спрашивает у нее: — И где же такой можно достать?

— Ну, — отвечает Мэнди, — на Тотнем-корт-роуд, я полагаю, можно найти довольно приличный, в каком-нибудь из этих радиомагазинов.

В следующую субботу Мик без особой надежды на успех бродит туда-сюда по Тотнем-корт-роуд, расспрашивая удивленных продавцов, бывают ли у них ускорители, не знают ли они, где можно найти какой-нибудь не слишком дорогой, чтобы в чемодан помещался, ну и т. д. Все они чрезвычайно сожалеют, но помочь ему не могут, так как понятия не имеют, что же ему нужно. В конце концов он покупает стереосистему «Гудменс Форуэй» и коллекцию компакт-дисков Линды Ронштадт в коробке, хотя, если честно, непонятно, понравится ли ей Линда Ронштадт — она никогда не проявляла интереса к кантри-музыке. Но он ста-

рался, черт побери. По крайней мере, он старался. А коллекцию Ронштадт как раз уценили.

Один из продавцов, молодой парень-араб с толстой цепью фальшивого золота на шее, спрашивает у Мика, зачем ему ускоритель, Мик вкратце объясняет, на что продавец просто говорит: «Уходи от нее».

Уйти от нее. Зачем? Какой в этом смысл? Несмотря на сложившуюся ситуацию, этот вариант представляется наиболее маловероятным и наименее желательным по сравнению с остальными. Куда им тогда обоим идти? Ему рисуются картины: душевная травма, метания, боль, которую им друг другу совершенно не обязательно причинять, и страдания, и расходы на переезд. Но, когда он по дороге домой в автобусе вспоминает слова продавца, в нем возрождается идея супружеской неверности как потенциальной альтернативы этому странному застойному состоянию. И тут же, почти одновременно, в голове у него раздается голос, повторяющий: «неверность — это плохо-плохо-плохо-плохо-плохо-плохо-плохо-плохо».

С тех пор, как они с Мэнди познакомились два года назад, он всего однажды был с другой женщиной, и ужасные воспоминания о том случае не покидают его по сей день. Анна принадлежала к

тесной компании друзей — Ади, Колетт и др., — с которыми он то и дело сбегал в паб. Однажды вечером, когда Мэнди была у родителей в Сандерлэнде, он самым невинным образом согласился выпить с Анной наедине. Невинная встреча в «Пяти колоколах» закончилась слегка — и только — менее невинным косяком у нее дома в Нью-Кроссе. Восстанавливая события, Мик не может вспомнить, в какой момент они перешли границы до- и после-зволенного.

Мэнди нормально отнеслась бы к выпивке, да, пожалуй, и к косяку тоже, хотя легкое подозрение по поводу позднего часа и, так сказать, места встречи могло бы омрачить ее лицо. Конечно, когда Мик, охваченный чувством товарищества и рассеянностью, начал поглаживать Аннину левую ногу, продвигаясь от лодыжки к ступне, а затем, зарывшись поглубже между пальцами, принялся легонько массировать ей подошву — тут Мэнди, натурально, разоралась бы, типа, что за дела, а ну хватит, все, приехали. Не прошло и тридцати секунд, а они уже трахаются вовсю, будто бродячие коты, на гоанской тахте в Анниной затхлой гостиной, озаряемые неярким свечением китайского фонарика, да еще, изредка, загадочными, сюрными вспышками — синими

огоньками электричек, проходящих прямо под самыми окнами: одни на юг, в Саттон, другие на север, к Лондон-Бридж.

При одной мысли об этом Мик вздрагивает. Вариант с неверностью полностью исключается, так что остается, видимо, терпеть скуку, эти удары кулаком в живот, а там, глядишь, она и перестанет сидеть скрючившись на лестнице и читать свои книжки. Но проблема «Мармайта» по-прежнему не дает ему покоя, наводя на такие размышления: интересно, меня тянет на «Мармайт» из-за ассоциаций с Хелен, или же меня тянет к Хелен только потому, что я люблю вкус «Мармайта»? Поди разберись.

А там, на тахте у Анны, Мику не верится, до чего хорошо у нее внутри — он и забыл, как оно бывает. Возбуждение, тепло, словно пузырьками распространяющееся по всему телу, ощущение какого-то полного блаженства, и от этого в голову приходит: черт, вот здорово; и чего я раньше-то ждал. Скрестив ноги у него за спиной, она вынуждает его войти поглубже; он сдергивает с ее плеча лямку платья, вцепляется в обнаружившийся под этим лифчик, потом, уткнувшись головой в бледную мякоть ее руки, слегка там покусывает; ее каштановые волосы разметаны по лицу, глаза

закрыты, а рот — розовый-розовый, розовее не бывает — открыт; довольно грубо ухватив его одной рукой за волосы на затылке, она то и дело потягивает за них, зажав в горсти целый пучок, и это приятно; другая рука внизу, у него между ног, держит в пригоршне его мошонку, и ему хочется, чтобы так продолжалось до бесконечности.

Нечто подобное как раз и происходит.

Процесс все идет и идет, и поначалу Мик страшно рад, что способен продолжать, даже не думая о необходимости сдерживать темп, но процесс все идет и идет, все дальше и дальше, и он начинает беспокоиться. Беспокойство, совсем небольшое, наподобие острия крохотной звездочки, прокле-вывается где-то в уголке виска. Он продолжает начатое, но от уверенности, которой были наполнены его движения, остается все меньше и меньше; он отчаянно пытается сосредоточиться на своих действиях, на физической стороне акта, в надежде как-то подстегнуть рефлексы; он перестает грызть ее руку и замечает, что и она уже не держит его ни за волосы, ни за мошонку, а он все пытается сосредоточиться, зная, что она еще не кончила и он, естественно, тоже нет; при этом у него возникает отчетливое впечатление, что ничего подобного с ним и не произойдет, а почему,

он понятия не имеет, и нервничает все сильнее, и смотрит на ее ярко-розовый рот, впрочем, теперь уже не яркий и не розовый, поскольку рот закрыт, плотно сжатые губы растянуты в тугую гримасу то ли решимости, то ли стойкости, то ли крайнего дискомфорта, Мик точно не знает; пенис у него теряет всякую чувствительность, словно глубоко погруженный в вакуум, не в вакуумный насос, что было бы куда лучше и, может, даже приятнее, а просто в вакуум, где вообще ничего нет; и тогда он, все еще находясь глубоко внутри нее, поднимает голову, ловит ртом воздух и, не в силах совладать со все нарастающей скукой, смотрит в окно…

У него вырывается длинный истошный вопль, и тело его неподвижно застывает.

В потусторонних синих всполохах электричек он различает лица, плотно прижавшиеся к стеклу, знакомые лица, в оцепенении глядящие на него сверху вниз. В их суровом выражении читаются разочарование и укор.

Он разворачивается, оставаясь при этом внутри нее, и с усилием тянется к окну. Заметив его взгляд, лица в свою очередь продолжают вглядываться в него.

«Уходите», — кричит он, в то время как Анна в

легкой панике пытается вывернуться из-под него, чтобы посмотреть, с кем он там разговаривает. «Пожалуйста, уходите», — его слова сопровождаются грохотом очередной электрички за окном, длинной такой — наверное, идет в депо в Хиз-эр-Грин, кто ее знает, — и тут ему неожиданно удается опознать этих судей-вуайеристов.

С некоторым удивлением Мик узнает лицо министра иностранных дел, мистера Джека Стро. И это еще не все.

Рядом с Джеком — архиепископ Кентерберийский, доктор Роуэн Уильямс, со своей экстравагантной патриархальной бородой. А из-за спин этой парочки высовывается, чтобы лучше видеть, Ник Росс, ведущий «Краймуоч Ю-кей», популярного тележурнала Би-би-си, выходящего в эфир ранним вечером (цель программы — обеспечить взаимодействие зрителей с полицией).

При виде Ника он снова вопит и пытается выкарабкаться из Анны, но у него ничего не выходит: крепко увяз. Упираясь ладонями в тахту, он дергается назад, безуспешно силясь вырваться — ни с места, и все тут. Может, дело в каком-нибудь необычном сокращении мышц? Сколько ни тяни, сколько ни напрягайся изо всех сил, выбраться из нее никак не получается.

Приподнявшись на руках, он опять смотрит в окно. Там выстроилась целая очередь, люди нажимают, пихают друг друга, чтобы взглянуть на эту жалкую, абсурдную сцену в гостиной у Анны. Видны заместители министра внутренних дел Беверли Хьюз и Эндрю Нилл, и ведущий второй программы радио Джереми Вайн, и строгого вида комментаторша Фиона Брюс, и этот комик-педераст, Грэм Нортон, и тот человек, который пешком дошел до Северного полюса, Мик что-то не может вспомнить его имя, но лицо узнает; там же менеджер Арсенала, Арсен Венгер, плечом к плечу с сестрами-теннисистками Венус и Сереной Уильямс, сразу за ними — глава римской католической Церкви, кардинал Кормак Мерфи О'Коннор, а у него на плечах примостилась малышка Лора Браун, шестилетняя девочка, которая в Америке перенесла все эти операции и которую теперь отправляют в Диснейленд за счет какого-то таблоидного издания, поскольку, как в конце концов оказалось, операции никакой пользы не принесли.

Мика начинает подташнивать, он, словно зверь, принимается царапать пол, пытаясь вытащить себя из Анны, но по-прежнему не может ничего сделать, а она, теперь уже не на шутку

запаниковав, со все нарастающими модуляциями в голосе спрашивает его, что происходит, что за фигня, затем кричит, уйди, уйди, уйди, но Мик остается глух к ее протестам; единственное, что он способен сознательно воспринимать, это очередь у окна, которая, как он теперь понимает, тянется до самого Нью-Кросса, заворачивает за угол, доходит до Куинс-роуд, а может, и дальше простирается — ему не видно. Его родственники тоже там, смешались с толпой знаменитостей и видных членов истеблишмента; он видит, как его отец пытается объяснить что-то Джону Прескотту, заместителю премьер-министра, а рядом стоит его мать, расстроенная, с грустными глазами. Смотрите, а вот и его дантист, мистер Хали, и мистер Бреннан, временно заменяющий врача в поликлинике, и тут же — мистер Кокс, преподававший у него математику в четвертом классе, который однажды пробормотал себе под нос, но достаточно разборчиво, «придурок гребаный», когда Мик хулиганил на уроке, и… короче, вот они все, стоят, уставившись на него, в свете синих вспышек, в то время как он не может выбраться из этой девушки, чего никогда раньше не случалось, ни разу, а она теперь еще и плачет, всхлипывает так протяжно, обиженно, прижав-

шись головой к индийской циновке.

Через некоторое время Мик прекращает борьбу, решив, что, может, тут как с этими растениями в джунглях: чем сильнее вырываешься, тем крепче застреваешь, так что он пытается чуть-чуть расслабиться. Заметив, что у очереди на улице и в самом деле есть конец, где-то далеко, в конце Куинс-роуд, он сразу жалеет, что взглянул туда. С краю, чуть в стороне от растянувшихся в хвосте — среди них несколько членов парламента от партии либеральных демократов, которых он не помнит по именам, диск-жокей Ники Кэмпбелл и жена Пола Маккартни, Хизер Миллс — стоит его собственная жена, Мэнди, с мокрым от слез лицом.

По прошествии, как ему кажется, нескольких часов — а на самом деле, возможно, секунд — у Анны из влагалища вырывается громкое бульканье, как будто вода всасывается в сток раковины, и — хлоп! — Мик оказывается на свободе. Он невыразимо рад такому повороту событий. Скатившись с нее, он навзничь ложится на пол в полном изнеможении. Люди за окном, как он с облегчением обнаруживает, разошлись, но Анна все еще тихо плачет рядом с ним.

— Все нормально? — спрашивает он.

— Да, нормально.

Мик начинает выдыхать, поднимая сильнейшие порывы воздуха.

— Что там такое случилось, зайка? — наконец решается он задать вопрос.

— Не знаю. Наверное, сокращение мышц или что-то в этом роде. Ты чего так завывал? Я прямо офигела от страха.

— Понимаешь, просто такое чувство, как будто ты в ловушке, что ли. По-видимому, контроль потерял на мгновение.

Пока они боролись, Анна осталась почти совсем без одежды. Она со стоном поднимается на ноги.

— О-у-у-у-у-у. Ноги болят.

Мик смотрит на ее ноги. Странное дело, пальцы и половина ступни отливают темно-коричневым блеском. Он замечает, что она стоит на пятках.

— Господи, — произносит Мик. — Я бы на твоем месте показался кому-нибудь.

— Да, — говорит Анна, а потом добавляет: — На фиг мы вообще это затеяли, а?

В общем, этот эпизод отбил у него всякую охоту изменять жене. Несмотря на то, что он все понимает: квартира Анны на третьем этаже, а значит, Джек Стро и все остальные вряд ли могли по-настоящему заглядывать в окно.

Иногда он думает, что надо бы позвонить Хелен — может, удастся прогнать из души эти чувства, как следует во всем разобраться. Но он не разговаривал с ней уже больше двух лет и понятия не имеет, где она. Если напрячься, в голову приходит разве что Рэмптон. И вот еще что: если с ней сейчас связаться, пойдут обиды, неприятные разговоры, в особенности насчет того, каким образом она от него ушла, плюс к тому она задолжала ему взнос за квартиру, ну и т. д. По правде говоря, он и представить себе не может подобного душевного разброда в случае, если бы от него ушла Мэнди: сегодня здесь, а завтра нет ее. И духу ее в этих стенах не осталось бы, думает он, — не то что после Хелен.

Одиннадцать вечера; Мэнди, склонив голову набок, читает одну из своих книжек, как всегда целиком погруженная в это занятие. Что-то техническое про уран. Мик сидит на полу, смотрит последние новости о военных действиях. Показывают фильм об израильском солдате, которого сирийцы использовали в качестве машины для переливания крови, потом — несколько неплохих кадров бомбежки Алеппо, за которыми следует интервью с американским госсекретарем. Война уже сто лет идет, и даже Мику, живо

интересовавшемуся телерепортажами на ранней стадии конфликта, все это успело надоесть. Он спрашивает у Мэнди, интересная ли книга, и та отвечает, да, в ней много информации. «Теперь я знаю почти все, что нужно», — добавляет она.

Звонит телефон; Мэнди наклоняется, берет трубку, говорит: «Нет», затем снова кладет трубку. «Не туда попали», — объясняет она Мику. Мик поднимается, топает на кухню, закладывает два ломтя толсто нарезанного хлеба в тостер, затем наливает воды в чайник. Отпихнувшись от упершегося в живот кулака, он стоит, смотрит, как раскаленные докрасна спирали окрашивают хлеб в золотисто-коричневый цвет. Достав из буфета баночку «Мармайта», облизывает ее край. Хлеб выскакивает из тостера. Закипает чайник. А «Гаджия» стоит себе на месте, и с ней ничего не происходит, совершенно ничего.

ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ (готический вариант)

Три часа ночи. Ничем не примечательное лето, прохладное и недолгое, незаметно перешло в осень. Но, несмотря ни на что, Джеймс начинает подозревать, что ему ниспослано благословение — любопытное ощущение, необычное, отчасти архаическое.

Эта не лишенная приятности мысль промелькнула у него несколько секунд назад. По какой-то иронии как раз в тот момент над головой у него, восемьюдесятью футами выше, произошло событие, которое весьма скоро заставит его переменить точку зрения. Как говорится, следите за рекламой.

Если точнее, благословение это распространяется лишь на отношения Джеймса с женщинами. То есть он благословен, но не глобально, не во всех делах. Только с женщинами.

Но уже само по себе это неплохо, такое благословение, правда? — спрашивает он самого себя, блаженно привалившись к стене и затягиваясь сигаретой.

Унылая натриевая лампочка на нижней площадке замызганной, промозглой бетонной лестницы озаряет его желтушным предутренним сиянием — выставляет, так сказать, в невыгодном свете. Сверху время от времени доносятся неясно бормочущие голоса, шаги, то и дело врывается, словно со срочным докладом, дверца машины, за ней — ненадолго — лихорадочный гул. Все эти посягательства на уединение его не особенно беспокоят, от них атмосфера в выбранном им укрытии становится только интимнее.

Поразительно, что удалось уговорить девушку пойти с ним. Он удивился до того, что тут же заподозрил — дело в ниспосланном ему благословении. Он всего-то и сказал ей: «А может, это, вниз спустимся?» — на что она, ни секунды не раздумывая, ответила: «Ага, ладно», — и беспрекословно направилась вслед за ним, пролет за пролетом.

Замечательно, думает Джеймс. Такого он не ожидал. После он пригласил девушку встретиться, выпить «как-нибудь на той неделе». В «Роще», предложил он, или в «Пещере отшельника»; до обоих пабов и ему, и ей недалеко. Он заговорил об этом, как только они оказались на самой нижней площадке. И она, к его ликованию и еще боль-

шему изумлению, отозвалась: «Ага, ладно», — с такой как бы усталой интонацией неизбежности в голосе.

И вот они стоят, дымя сигаретами: у него «Кэмел», у нее «Мальборо лайтс». Струйки сладковатого, затхлого дыма перемешиваются в холодном желтом воздухе. Вид у Джеймса взъерошенный, глаза заспанные, как будто он только что вскочил с постели в страшной спешке — на самом деле, именно так и случилось.

Сигаретный пепел просыпался девушке на халат. Протянув руку, Джеймс стряхивает его заискивающе-нежным жестом.

— Какие у тебя волосы красивые, — говорит он.

Но это вранье или, по крайней мере, преувеличение. Волосы у нее в меру блестящие, густые и черные, стрижка чуть коротковата для ее худого бледного лица — наверное, профессиональное. Волосы как волосы, в общем: нормальные, чистые и без явных признаков облысения. Но красивыми их назвать можно лишь с натяжкой.

Девушка шмыгает носом и улыбается, слегка смущенная.

— Спасибо, — в конце концов бормочет она, поправляя халат. — Знаешь, я пойду лучше. Сестра

небось думает, куда я на фиг делась.

Когда она тушит сигарету о бетонную стену, искры, будто крошечные звездочки, скатываются вниз так быстро, что гаснут, не успевая долететь до пола.

— Тебе, если на то пошло, тоже пора, — добавляет она с легким лукавством. — Кто его знает, как там события развиваются…

Джеймс поспешно кивает в знак согласия и, незаметно справившись со значком на ее халате, говорит:

— Ну так что, Колетт… мобильник у тебя есть, договориться окончательно насчет встречи?

— А как же, — отвечает она и выдает пулеметную очередь цифр, которые Джеймс загоняет в свою «Нокию». — Только до обеда не звони, ладно, — мне на той неделе в ночь выходить. Ну давай, двигай. Пошли.

Они поднимаются по лестнице: впереди Колетт, шагает через ступеньку, чуть позади Джеймс, борется с одышкой. На полпути она говорит ему:

— Ты не поверишь, сколько мужчин в твоем положении пытаются медсестер снимать. По-моему, это то, что психологи называют защитным механизмом.

Джеймс секунду обдумывает ее слова, потом

спрашивает:

— И часто им это с тобой удается?

Ему видно, как она, продолжая подниматься, пожимает плечами:

— Довольно часто. Мне-то что.

Столь грубое откровение заставляет Джеймса пересмотреть задним числом версию о ниспосланном ему благословении. Может, не я один такой; может, мужчины в большинстве своем благословенны, размышляет он. А может, благословение тут вообще ни при чем. Может, все, что нужно — это попросить.

Колетт впускает его через боковую дверь больницы, быстро прорезав металлический замок своей карточкой-пропуском. В вестибюле, где они шепотом прощаются, темень почти непроглядная. По мере того, как глаза Джеймса с трудом привыкают к темноте, от стен начинают отделяться странные призраки: монстры, громоздкие силуэты расплывчатых очертаний, они словно манят его к себе. Одно такое чудовище с головой гигантских размеров стоит на страже у дальней стены, распахнув объятия, и зловеще наблюдает за тем, как он с опаской переставляет ноги по линолеуму. Но мало-помалу частицы мрака и света растворяются в его мозгу, и Джеймс видит,

что никакое это не чудовище, а здоровенный, симпатичный мохнатый плюшевый мишка. До него доходит, что он, должно быть, попал в приемную послеродового отделения.

И тут же, не успев прийти в себя, он снова вздрагивает от голоса, раздающегося прямо у него за спиной.

— Дверь направо, два пролета вверх. Пока.

Обернувшись, он всматривается в серую мглу, но Колетт уже и след простыл. Куда она испарилась? И какого черта шептаться?

Он топает вверх по лестнице, чувствуя, как угрызения совести с каждым шагом отдаются резью в животе. Уже на первой лестничной площадке слышны крики — ужасные, душераздирающие вопли, которые усугубляют чувство вины и слегка пугают его. Запыхавшись, он доходит до второго этажа, выруливает через пустой приемный покой к отделению, но тут, рванув было в панике мимо поста, на мгновение теряет ориентацию и не может вспомнить, в какой из комнат ему надлежит присутствовать. Кругом тихо — вопли прекратились, и Джеймс одичало оглядывается по сторонам, озлобленно матерясь. Ну и куда мне?

От длинного коридора по обе стороны отходят

под углом многочисленные двери. Хрен поймешь, которая из них его палата. Не в силах вспомнить, он стоит, замерев в нерешительности, тяжело дыша.

На помощь ему приходит темнокожая женщина в голубом халате. Она высовывает голову из двери в каких-нибудь десяти футах от него:

— Сюда, мистер Твейт. Самое интересное-то как раз и пропустили.

— Ох ты, господи, черт побери, как же так… Выскочил только покурить… — Он ловит ртом воздух, тряся головой. — Выскочил только покурить, и на тебе…

Но, войдя внутрь, он перестает бормотать. Ощущение такое, будто он попал в особенно неаппетитный фильм Сэма Пекинпа[20], причем в самый разгар финальной сцены. Или, точнее говоря, в заключительный стоп-кадр, поскольку с его наблюдательного поста в дверях кажется, что участники застыли во времени и пространстве и вряд ли когда-нибудь смогут вновь пошевелиться. Что это было, размышляет он, перестрелка или беглый псих с мачете?

— Господи… — вот и все, что ему в конце кон-

[20] Примечания: 20

Сэм Пекинпа — американский режиссер, в фильмах которого часто фигурирует насилие.

цов удается выдавить в качестве приветствия. Затем опять, на случай, если его не расслышали в первый раз: — Господи…

В сцене принимают участие трое мужчин — по-видимому, врачи; на всех белые халаты. Или, по крайней мере, халаты, некогда бывшие белыми. Похоже, что белыми им снова никогда уже не стать. Теперь эти халаты выглядят, словно творения Джексона Поллока радикально-красного периода. Все эти люди, обернувшись, смотрят на него, стоящего в дверях в оцепенении, подобно первому свидетелю на месте автокатастрофы. Один из них, пожилой врач-пакистанец, которого он никогда не видел раньше, с головы до ног забрызганный кровью, по-прежнему держит в руках эти огромные… господи, да что же это? Гигантские плоскогубцы? Некое средневековое орудие пыток и религиозного наставления? Еще один неизвестный ему человек — короткие черные волосы, южно-азиатские глаза с тонкими веками — нагнулся, вооруженный небывалых размеров вантузом, до сих пор орошающим кровью белый линолеум.

А вот и доктор Андерсон, знакомый ему по последнему визиту сюда, отдыхает, прислонившись к окну; заметно, насколько он изнурен. К его вы-

мазанному в крови подбородку пристало что-то хрящевидное. Он устало машет рукой разинувшему рот на пороге Джеймсу. А, Джим, говорит он, привет еще раз.

И акушерки здесь — обе тоже основательно искупались в крови на этой бойне, или что тут у них недавно происходило. Женщина, которая привела Джеймса в комнату, теперь занята тем, что откручивает некий громоздкий металлический предмет, прикрепленный к изножью кровати. Другая моет руки в раковине в углу; в сток сбегает розоватая вода с какими-то комками. Господи, думает он, ну и жарища в этой комнате, задохнуться можно.

И тут он видит Анжелу, про которую практически забыл. Малышка Анжела лежит, откинувшись, на койке; ноги, вдетые в нелепого вида стремена, все еще задраны кверху. Прикрывающая ее ниже пояса зеленая хирургическая простыня трепыхается на сквозняке, идущем из недавно открытого окна. Сделав глубокий вдох и отведя взгляд от синевато-багровой неразберихи под зеленой простыней, он подходит к Анжеле.

Вид у нее жуткий. Как у потерпевшей кораблекрушение или умирающей от холеры в бенгальских трущобах, что-то в этом роде, думает он. Ее

волосы, обычно каштановые, как-то выцвели до тусклого глиняного оттенка и прилипли к голове, свалявшись в жирные немытые космы. Лицо у нее серое, дряблое от петедина и напряжения.

И все же у Анжелы хватает сил улыбнуться ему.

— Привет, зайка, — хрипит она. — Ну что, опять опоздал?

Он берет ее руку, до странного холодную и в то же время липкую от еще не просохшего пота, в свою.

— Ну извини, извини… Только покурить выскочил… Я…

— Нормально все, не переживай. Может, и к лучшему, что тебя здесь не было, если честно. Нет, правда, пришлось попотеть. — Она обводит комнату взглядом. — Они все вели себя просто героически. Погляди-ка…

Она подсовывает ему какой-то белый кулек, то ли не замеченный им до сих пор, то ли как-то выброшенный из головы, и начинает слой за слоем разматывать тряпки, в которые эта штуковина завернута.

Нет, не надо, хочет сказать он, пожалуйста, не утруждайся ради меня, еще успеется. Но слова застревают в горле, и вместо него заговаривает

Анжела.

— Чарли, — обращается она к комку, который держит в руках, — поздоровайся с папочкой.

Джеймс в ужасе таращится на странное создание. Господи, что это? Какое-то кошмарное существо, просто черт знает что: череп конической формы, длинный, с перекошенной макушкой; желтовато-зеленое лицо, сочащееся слизью непонятного происхождения; глаза черные, огромные, осмысленные.

— Ф-фу, — не удержавшись, выдыхает Джеймс. Глаза обращаются в его сторону, под их недобрым взглядом он — как под прицелом.

Джеймс — тут надо отдать ему должное — изо всех сил старается вызвать в себе симпатию к этой штуковине, что, черт побери, дается ему с трудом. Пролепетав в конце концов: «Привет, Чарли», — он неуверенной рукой тянется к отвратительному чудовищу.

Внезапно перестав глазеть, Чарли начинает вместо этого громко плакать. Звук такой, как если бы банда подростков мучила нескольких кошек сразу.

— Правда, хорошенький? — говорит Анжела, снова укладывая куль себе под бок.

На следующей неделе у Джеймса нет времени

выпить с Колетт ни в «Пещере отшельника», ни в «Роще» — да вообще где бы то ни было, что слегка его раздражает. Он постоянно на побегушках, вся его жизнь теперь заполнена однообразными поручениями: заварить чай, помыть посуду, сгонять в магазин, когда кончается неприкосновенный запас пеленок, постирать загаженные детские одежки. Совместить эти дела с попытками вести домашнее хозяйство, как все нормальные люди, — задача, оказывается, совершенно невыполнимая. Прихожая, кухня и гостиная забросаны кисейными платками, перемазанными какой-то похожей на гной дрянью; все полы усеяны игрушками, дико ухмыляющимися, раскрашенными в цвета для дальтоников. То там, то сям, если повезет, можно найти вонючую пеленку или пачку ароматизированных салфеток, коварно укрывшуюся под подушкой.

Запах экскрементов и прокисшего молока проникает в каждый угол дома несмотря на то, что Джеймс целыми днями прыгает повсюду с флаконом «Глейда».

Он, конечно, старается по возможности держаться подальше от мерзкого созданьица, избегает даже находиться с ним в одной комнате, что ему, как правило, удается.

Избавленный от необходимости кормить грудью, он считает само собой разумеющееся оправдание настоящим подарком судьбы. Плюс к тому, он разработал хитроумную теорию, позволяющую ему уклоняться от еще худшей повинности — смены пеленок. В этом возрасте младенец «полностью зациклен на маме», вслух зачитывает он Анжеле из пособия для родителей. Подняв идиотский том повыше, цитирует: «…а значит, важно, чтобы отец не начал ассоциироваться исключительно с неприятными для ребенка вещами, такими, как смена пеленок, а мать — исключительно с тем, что доставляет удовольствие, например, с кормлением…»

Впоследствии все это может привести к серьезным проблемам, уверяет он жену.

И Анжела, слава богу, не особенно возражает против таких аргументов. По сути говоря, она испытывает настоящее наслаждение от этого грязного дела, несмотря на сплошную отупляющую скуку и неизбежную вонь. Конечно, она все время ходит усталая. Да и по друзьям скучает (они от нее шарахаются, как от чумы или дифтерита). Но Чарли она необъяснимым образом обожает и, даже когда поспать ей удается совсем недолго, безропотно вылезает из постели в три

утра — кормить этого мелкого негодяя-эгоиста в такую рань. Джеймс всегда крепко зажмуривает глаза, когда она встает унять страдальческие жалобные вопли, несущиеся из кроватки у них в ногах. По правде говоря, в такие моменты он чувствует себя немного виноватым.

Но тут имеются и смягчающие вину обстоятельства: маленькое чудовище, кажется, не слишком-то любит его. Более того, оно, по сути говоря, затаило на него некую злобу. Джеймс прямо-таки боится моментов, когда Анжела, вся обмякнув, в изнеможении говорит: «Ты его не подержишь немножко?» — и противный куль переходит из рук в руки. В таких случаях Джеймс опасливо берет его и начинает покачивать по рекомендованной в учебниках системе. Но сидящее внутри создание ни на секунду не дает себя одурачить. Открыв свои большие черные глаза, оно упирает в Джеймса неподвижный взгляд, как тогда, в палате роддома. Оно даже не плачет, только глазеет; при этом на уме у него явно что-то недоброе. Этот взгляд не на шутку действует Джеймсу на нервы. Где оно научилось так глазеть? В этом возрасте ему еще рано уметь фокусировать глаза. Эта идиотская хрень — погремушка с разноцветными канарейками — для

того и болтается постоянно у него над головой, чтобы учиться их фокусировать. Но на Джеймсе-то оно фокусируется без проблем. Фокусирует на нем свой холодный, сухой ненавидящий взгляд, а затем обычно срыгивает ему на рубашку.

Когда существу было недель шесть, произошло нечто странное. Анжела передала кулек Джеймсу и удалилась наверх, в спальню, вздремнуть. Прошлой ночью Чарли не давал ей спать дольше обычного. Теперь она была похожа на фотографию енота в сепии.

Как только она вышла из комнаты, Джеймс тут же положил куль в корзину типа моисеевой и сел с журналом на диван, почитать о хорошей одежде, привлекательных женщинах и спорте.

Оно начало плакать.

— Кончай орать, — велел Джеймс.

Плач продолжался.

— Я кому сказал, кончай, блин, орать, — повторил Джеймс.

Плач стал немного настойчивее.

Когда Джеймс подошел разобраться, существо умолкло, и он снова наткнулся на этот зловещий взгляд.

— Кончай пялиться, — сказал Джеймс.

Но существо продолжало пялиться.

Тогда Джеймс ткнул его в горло пластмассовой линейкой.

— Я кому сказал, кончай, блин, пялиться.

И снова ткнул.

Но оно лишь глянуло на него с тем же угрожающим выражением, а затем — вот это-то и есть самое странное — открыло свой писклявый рот и совершенно ясно произнесло:

— Дезайи.

Ошарашенный, Джеймс уронил линейку.

— Как ты сказал, засранец?

Попялившись еще немного, оно повторило: «Дезайи. Дезайи. *Дезайи*».

Джеймс грустно покачал головой.

— Ах ты, гаденыш недоделанный, — и с этими словами опять уселся за свой журнал.

Пару дней спустя Джеймс, уютно устроившись, лежит на диване, сраженный каким-то загадочным недугом. В течение тридцати шести часов он не двигается, не переодевается, охваченный то ли слабостью, то ли тошнотой, а может, и тем, и другим: рука заброшена за голову, на рубашку капает пот. У него почти не осталось сил даже на то, чтобы думать о своей болезни: не то пищевое отравление, не то вирусный грипп, а может, это тянет к нему свои пока не окрепшие щупальца

что-то еще более грозное, что-то такое, что никогда уже не пройдет и в конце концов, после всех ужасов лечения, доконает его. Ох, как же он изможден и беспомощен.

Все это время Анжела вынуждена и хозяйство вести, и ухаживать за Чарли, *плюс* то и дело выполнять жалобные требования Джеймса. «Ты не могла бы мне принести немного сердечной настойки из кухни», — просит он время от времени. Эта непонятная напасть повлияла на его речь. Он постоянно использует слова «сердечная настойка», «лихорадка» и им подобные, будто бледноликая, чахлая героиня эпохального викторианского романа. Так он и проводит время в заключении: старомодно выражаясь и смотря гольф по спутниковому каналу.

Чарли тем временем продолжает какать, писать и есть, совершенно не замечая отцовских страданий. Но Джеймс, чье здоровье поправляется, а вид улучшается день ото дня, со своего наблюдательного поста на диване следит за маленьким существом со смесью опасения, подозрения и ужаса.

Даже выздоровление не приносит того радостного облегчения, которым, как правило, сопровождается отступление болезни. Вместо

этого он дергается по поводу выхода на работу, а выйдя, целый день дергается на работе по поводу возвращения домой. Там его опять поджидают выходки, направленные, как он искренне полагает, против него лично.

Как вы, наверное, уже догадались, Джеймс больше не считает себя благословенным вообще ни в каком смысле. Наоборот, он начинает думать, что над ним тяготеет проклятие. Такое впечатление, что у него солипсическое, однозначное, черно-белое восприятие судьбы. Благословен или проклят, третьего не дано, причем маятник ежедневно раскачивается из стороны в сторону. Непонятно, откуда у него такое отношение к жизни — его же, в конце концов, не воспитывали анимистом или католиком. Но не менее непонятно другое: не является ли все то, что он, по его утверждению, видел собственными глазами, просто результатом по-детски воспаленного воображения. Как-то странно, что младенец шести недель от роду гулит «Дезайи». И потом, этот жуткий, действующий на нервы взгляд. Есть и другие обстоятельства, подкрепляющие Джеймсову уверенность в том, что дело тут нечисто — того и гляди, произойдет нечто страшное.

Например, по ночам дом словно рушится прямо

на глазах. Джеймс лежит без сна в холодном поту, с широко открытыми глазами, в то время как стены, пол и крышу атакуют полчища ненасытных насекомых: щетинохвостики, мокрицы, жуки-пожарники, уховертки, долгоносики, тараканы, гусеницы, сверчки, клещи и прочая еще более мелкая шушера с незапоминаемыми и непроизносимыми латинскими названиями. В последнее время Джеймсу никак не удается отделаться от этого постоянного похрустывания. Иногда он поднимается с постели, где лежал рядом с Анжелой, украдкой идет выяснить, в чем дело, и в темноте довольно часто застает их, когда они жуют линолеум в кухне, прогрызают древесину плинтусов, постукивают в окна своими мягкими перепончатыми крыльями. При его появлении они бегут без оглядки, торопливо забираясь под шкафы и стулья или просто растворяясь в ночи. Недавно он несколько раз прятался за диваном в ожидании их прихода, чтобы выпрыгнуть оттуда в последний момент, как только они приступят к своим темным делишкам. Ха! — кричит он. ПОПАЛИСЬ! И начинает топать и рычать как безумный.

Как только Анжела умудряется их не слышать, думает он. Ничто кроме Чарли не способно ее

разбудить. Она все спит и спит, ее утонувшее в подушке лицо светится молочно-белым, напоминая обитающих на дне океана странных рыб, чей счастливый удел — породившая их тьма.

Она не слышит ни насекомых, ни постоянного назойливого гула, который производят молекулы воздуха, сталкиваясь у них над головами, — ничего, одного лишь Чарли. А в сознании Джеймса эта непрерывная деятельность в глухой ночи выливается в дребезжащий мотив, заглушить который он не может при всем желании.

А тут еще эта птица в саду, впервые замеченная им несколько дней назад, большая черная птица, что сидит на крохотном квадрате лужайки и всматривается в кухонное окно своими черными глазами.

— Это ворона, Джим, — говорит Анжела.

— Слишком большая для вороны. Ворон это…

— Это ворона, Джим. Оставь ее в покое.

Неделю спустя после случая с «Дезайи» происходит еще один перелом в том же роде. Как-то вечером Анжела, физически не в состоянии пошевелиться, лежит, распростершись, на диване, который теперь используется исключительно в качестве больничной койки. Услышав плач, доносящийся из моисеевой корзины в дальней

комнате, она умоляет Джеймса пойти посмотреть.

— Что ему, по-твоему, нужно? — нервно спрашивает Джеймс.

— Да, наверно, снова подгузник сменить, — говорит Анжела, зависнув на пороге долгожданного полуобморока.

Джеймс на цыпочках идет в соседнюю комнату. Существо тихо и настойчиво плачет, но, едва завидев Джеймса, замолкает и опять начинает пялиться на него. На этот раз глаза его слегка сужены, словно оно пытается сосредоточиться на чем-то жизненно для себя важном. Выглядит все именно так, если, конечно, допустить, что столь малолетнее создание способно на осознанный мыслительный процесс.

Взяв пластмассовую линейку, Джеймс нерешительно тычет ею в подгузник: действительно, полный, судя по звуку. Он недовольно сопит, вынимает чудовище из корзины и переворачивает. Отлепив пластиковые полоски сбоку, крайне осторожно снимает подгузник и кладет на пол. Приподнимает голый зад существа, собираясь подтереть его, и тут…

— Господи, твою мать!!!!!

Вслед за взрывной волной утробного кашля

из задницы вырывается мощный поток экскрементов, цветом и токсичностью напоминающих оксид урана, и обдает противоположную стену, дверь, ковер, а особенно щедро — лицо Джеймса. Он роняет штуковину обратно в плетеную корзину.

— Мать твою!!

— Что случилось, зайка?

— Задница у него вся взорвалась к чертовой матери, что-что. Господи ты боже мой.

Борясь с тошнотой, Джеймс утирает с физиономии пузырящееся желтое дерьмо, пинту за пинтой, на что уходит целая пачка влажных салфеток. Эта дрянь липнет и жжет не хуже напалма, а пахнет, как разлагающийся труп бомжа. При каждом прикосновении тряпки Джеймса выворачивает и передергивает.

Покончив с самым неприятным, он наступает на гадкое существо с верной пластмассовой линейкой наготове.

— Ты, урод, сволочь мерзкая, — говорит он, тыча линейкой в жирную шею.

Существо смотрит на него в ответ этими своими огромными черными глазами, нимало не смущаясь.

— Бабаяро, — булькает оно. — *Селестин* Ба-

баяро.

Никто ему, разумеется, не верит.

Как-то поздним вечером Джеймс выбирается в «Пещеру отшельника» на короткую побывку, посидеть с друзьями: Ади, Кларой и ее отвратительным самодовольным приятелем Троем. Он готов был к их смеху и недоверию, но теперь, когда приходится сносить такое, его это все-таки раздражает и оскорбляет.

— Я же вам объясняю, — говорит Джеймс, стуча по столу рукой и делая очередной здоровый глоток пива, — это дерьмо мне теперь весь состав «Челси» наизусть выдает. Нет, блин, серьезно! Семь недель ему, говорить вообще еще не положено. А оно весь «Челси», блин, на память знает. Точно вам говорю, блин, прямо как одержимое!

— Чем он, по твоему, одержим — Кеном Бейтсом[21], что ли? — спрашивает Ади.

Они просто смеются над ним, все как один. Клара поглаживает его руку.

— Его Чарли зовут, Джим, он же сын твой. Тебе просто надо к нему немного привыкнуть…

— Ты бы хоть попытался какие-нибудь теплые чувства к нему проявить… — говорит Ади.

---

[21] Примечания: 21
Кен Бейтс — бывший президент футбольного клуба «Челси».

— Не могу я! Он мне не дает. Ади, ты себе представить не можешь… Он меня ненавидит, хочет из дому на хрен выжить. И потом, знает ведь, что я за «Лидс» болею. Мы с «Челси» издавна враждуем, с самого финала кубка 1970 года, когда мы их насмерть замочили, но им этот козел Дэвид Уэбб подсудил…

— В повторном матче, да? Тогда еще Осгуд забил, с подачи Чарли Кука. Бац, и прямо в середку!

— Заткнись, Ади. Джим, ты в своем уме? Ты что, хочешь сказать, твой Чарли все футбольные подшивки за последние тридцать лет просмотрел?

— Да нет же, вы меня не слушаете. Я что хочу сказать: это дерьмо чем-то одержимо.

— Ладно, Джим, — влезает в беседу Трой. От его снисходительно-рассудительных речей Джеймса блевать тянет. — Давай рассуждать логически. Не знает он наизусть всех игроков «Челси». Пока, если верить тебе, он сказал только «Дезайи» и «Бабаяро», и все. Так вот, с лингвистической точки зрения, первые звуки, которые произносит младенец, — наиболее простые для его еще не сформировавшегося неба — это «д» и «б». «Дезайи» — вероятно, попытка сказать «дай сисю». Да ты гордиться им должен!

Джеймс не любит Троя. Эти не вполне латентного характера трения между двумя мужиками отчасти объясняются тем фактом, что Джеймсу довелось в студенческие времена пару раз переспать с Кларой.

— Хорошо, господин Жан Пьяже[22], — издевается Джеймс, — а «Бабаяро», мать его за ногу, как вы тогда объясните?

Трой смеется, глядя на Клару в ожидании поддержки и широко разводя руками.

— Ой, да ладно тебе, ну сам подумай! Ну что он сказал? Ба-ба-ба-ба-ба-ба… Я вас умоляю: где это слыхано, чтобы младенец говорил что-либо подобное? Соберись, Джим: он же просто гулил, остальное — плод твоей фантазии.

— Оно сказало «*Селестин* Бабаяро», Трой. Даже Линекер, мать его за ногу, такое с трудом выговаривает. Монстра я породил.

— Джим, миленький, не говорил он… как там было, Трой?.. Селе… как его там… Бабаяро. У тебя, очевидно, стресс. А стресс, это, ну… Трой ведь правильно говорит: ты перетрудился, дошел до предела, вот у тебя с мозгами и творится непонятно что.

---

[22] Примечания: 22

Жан Пьяже — швейцарский ученый, прославившийся, в частности, своими трудами по детской психологии.

Когда Клара вот так вот встает на сторону Троя, этого Джеймс вынести уже не может. Он грохает стаканом по столу, расплескивая пену, и в бессильной ярости брызжет слюной.

— Мать твою за ногу, не надо со мной говорить, как будто я дебил или псих! Я знаю, что слышал. Знаю, и все, ясно?

Во время этой вспышки на них поглядывают другие посетители паба. Это уже слишком. Все четверо синхронно замолкают, на какое-то время сосредоточившись на выпивке. Джеймс размышляет, не рассказать ли им и про насекомых, но потом думает, нет, пожалуй, сейчас не время.

Когда хозяин, толстяк Джефф, гавкает за стойкой, что скоро пора закрывать, Трой встает, радуясь возможности прервать эту до крайности неприличную сцену, приглаживает волосы и оживленно предлагает всем выпить на посошок. Ему порядком надоело обсуждать этого чертова Джеймсова младенца.

Но Джеймс перебивает, не давая никому ответить. Он уже не кричит, но его насильственно ровный тон пугает не меньше.

— Хватит пить; пошли разберемся.

— В каком смысле — разберемся?

— Пошли со мной, сами все услышите. Анже-

ла спать будет. Это убоище в одиннадцать как похлещет у жены из сиськи, так и закемарит. Пойдем все вместе ко мне. Я хочу, чтобы вы мне поверили. Вы обязаны мне поверить. Это важно. А то, блин, хоть на стенку лезь.

Несколько секунд они обдумывают эту идею.

Потом Ади говорит:

— Он теперь в «Саутенде», да?

— Кто в «Саутенде», что ты несешь?

— Дэвид Уэбб. В прошлом сезоне, кажется, ушел из «Евиля» к ним менеджером.

Пятнадцать минут спустя все четверо украдкой пробираются через пахучий, мягкий сумрак супружеской спальни. В первых рядах — вооруженный линейкой Джеймс; рядом Клара — глаза ее расширены от волнения и тревоги за друга; Ади с трудом сдерживает хихиканье; на заднем плане Трой, которому вся эта затея не по душе.

— Джим, а линейка зачем? — шепчет Клара, хотя ей и так все понятно.

— Чтоб тычка дать гаденышу. А теперь тихо, а то Анж разбудите.

Их обступает густая и теплая темнота спальни, где различимы лишь слабое посапывание Анжелы да ее животный, сладкий молочный запах. Ребенок тихо лежит на спине с закрытыми

глазами.

Джеймс тычет его линейкой в горло.

— Джим! — говорит Клара.

— Ш-ш-ш. — Джеймс еще раз пихает ребенка линейкой.

Чарли открывает глаза и недоуменно постреливает зрачками туда-сюда, обводя комнату взглядом.

Тогда Джеймс опять тычет его, на этот раз посильнее, в живот.

И тут происходит следующее. Скривив губы, ребенок издает довольный *смешок* — легкомысленный, веселый, булькающий — и одновременно машет ручками в умилительном возбуждении.

— А-а-а-х ты, золотце мое! — Клара почти не в силах сдерживать свои шумные излияния. — Смотри, Джим, смеется! — Она наклоняется над кроваткой и протягивает Чарли палец, который тот крепко цапает своей крошечной лапкой. — Ах ты, господи…

В отчаянии Джеймс рычит:

— Оно никогда раньше так не делало. Понимает, блин, что вы здесь. — Он еще раз повыше поднимает линейку, но Клара хватает его за руку и говорит разъяренным шепотом:

— Джим, ты у меня получишь, если еще раз

тронешь ребенка. Ничего в нем такого странного нет. Прекрасный малыш — не чета тебе.

— По-моему, все нормально, парень, — добавляет Ад и.

А Трой тянет с выражением усталой непричастности:

— Ну, пойдем уже, что ли?

Не дождавшись ответа от Джеймса, который словно окаменел от сдерживаемой ярости, Ади, Трой и Клара поднимаются на ноги и идут на цыпочках к двери.

— До свиданья, ягненочек ты мой сладкий. — Клара поглаживает ручку ребенка.

Джеймс трясет головой, вздыхая:

— Идите вниз, я сейчас.

Клара задерживается в дверях.

— Я тебя предупреждаю: не вздумай опять его ткнуть, Джим. И вообще, дай-ка сюда линейку.

Джеймс с недовольной миной отдает линейку Кларе и снова присаживается у кроватки. Ему слышно, как друзья хихикают на лестнице.

Остаются два варианта, оба крайне неприятные: либо существо гораздо умнее, чем он считал, либо все это ему почудилось. Он сидит на корточках, пытаясь решить, что хуже, потом заглядывает в кроватку. Существо безмятежно

смотрит на него в ответ. Теперь он больше не усмехается, ничего не делает — просто лежит в своей кроватке, как обычный ребенок. Джеймс наклоняется, осторожно поправляет одеяльце у Чарли под головой и кладет обратно на подушку маленького белого — заляпанная шерсть потускнела от постоянного жевания — барашка по имени Бе-бе, с которым привык засыпать его сын. Он подтыкает одеяльце, прикрывает высунувшуюся наружу маленькую ножку Чарли.

Джеймс уже готов встать и уйти, как вдруг Чарли, уставившись на него, тянется, хватает за руку и произносит нараспев низким, гортанным шепотом:

— Джимми… Флойд… Хассельбайнк…

— Чего-чего? Ах ты, гад…

— Да. Джимми Флойд Хассельбайнк. Давай, беги вниз, расскажи им, ты, придурок. Они тебе не поверят. А повторять я не собираюсь.

Внизу, в прихожей, Джеймс прямо-таки силком выпихивает друзей за дверь, на улицу, в ночь.

— Слушайте, спасибо, что зашли, — говорит он, силясь изобразить на лице натянутое спокойствие. — Я как-то… то есть мы с Анжелой, мы оба последнее время в каком-то жутком стрессовом состоянии. Вы извините, что я сегодня…

Они стоят плечом к плечу, недоверчиво наблюдая за Джимом.

— Я что хотел сказать, спасибо, что заскочили. Для меня это, знаете, так важно…

— С Чарли все в порядке? — отрывисто перебивает Клара.

— Что? Чарли? Да, Чарли себя отлично чувствует, просто отлично. Отсыпается, хе-хе, после ночной побудки. Слушайте… — продолжает он, одной рукой открывая входную дверь, а другой выпирая из дому сначала Ади, а за ним Клару, — может, выпьем вместе как-нибудь на следующей неделе? В «Роще», а? Мне полезно из дому выбираться, да и Анжи, по-моему, тоже. А то все торчишь взаперти, просто мозги протираются…

Никто из них не торопится уходить. Шли бы вы домой, думает, прикусив губу, Джеймс, топали бы отсюда.

— Точно у тебя все нормально? — спрашивает Ади.

— Да-да, абсолютно замечательно. Устал, правда, немного, вот и все. Пойду, пожалуй, прилягу отдохнуть, — отвечает Джеймс, потирая виски и одновременно решительно выпроваживая Троя за порог.

— До скорого! Счастливо добраться! Пока! — го-

ворит он наконец, закрывая дверь и немедленно запираясь на тяжелый противовзломный засов.

Трой, Ади и Клара стоят на тротуаре рядом с домом Джеймса, смущенно сгрудившись в кучу и не очень понимая, что делать. На улице ни души, почти ни звука, не считая отдаленного шума машин, доносящегося с Камберуэлл-роуд.

— У него что, крыша поехала, что ли?

Все согласно кивают на слова Ади.

— С ребенком трудно, особенно Джеймсу, в его-то взвинченном состоянии. Надо нам приглядывать за ним. Подумать только — собственного сына линейкой тыкать. Бедному крохотуле, наверное, больно было, — говорит Клара.

— Поосторожнее надо, а то, блин, еще наедут эти, социалы. Синяки ведь могут остаться.

Ади потирает руки: ночь такая холодная — похоже, дело идет к первым настоящим заморозкам в этом сезоне. Стоит конец ноября, почти все время темно.

— А спать он, между прочим, не лег.

Ади и Клара оборачиваются. Отойдя от них и уперев в бока руки, Трой всматривается в выходящее на улицу окно.

— Что он теперь задумал?

— Погляди.

Свет в гостиной погашен, но дверь в коридор приоткрыта, так что внутри достаточно светло, и им хорошо видно, чем занят их друг. Скрючившись на четвереньках за диваном, сжимая в руке молоток, он ждет.

ДЕНЬ СВ. МАРКА

Триша с ребятами отправились во Флайворлд© — «400 квадратных метров дерьма», как сообщается в брошюрах. Так у нас в роду заведено, ездить туда на День св. Марка, в апреле, числа 25-го, как только ветерок по-настоящему потеплеет и совсем рядом, над лужайками, зарослями терновника и липами поплывут летние запахи. Может, и я к ним подъеду, хотя не знаю: последнее время такое чувство, будто у меня выработался иммунитет к подобным в кавычках радостям. Что-то нет энтузиазма околачиваться среди множества разгоряченных, гудящих тел, похожих на твое собственное. Все скачут, копошатся, блюют, галдят и трахаются, как ненасытные, а порой в кулуарах и до насилия доходит — народ ведь слегка нагрузившись и перегревшись, отсюда и раздутые страсти. Да ты, читатель, наверное, и сам бывал в подобных местах, должен понимать, о чем речь. Наездники-злопыхатели тоже постоянно вертятся вокруг, пытаются пристроить своих отвратительных деток. Поэтому, в частности, более изысканной публики там не встретить — мотыльки и бабочки, наши собратья-ари-

стократы, во Флайворлд© отдыхать не ездят. И потом, эти друзья вообще к дерьму равнодушны.

Короче, вот потому-то я здесь, думаю о том о сем, просто летаю вокруг люстры в гостиной. И дел опять-таки хватает, то с одним разобраться, то с другим, благо дома пока никого.

Без моего присмотра Триша, я думаю, потеряет пяток-другой, не меньше, из двадцати семи наших недорослей. По правде говоря, мы утром поцапались. Я ей говорю, слушай, не напрягайся, чем тебе здесь не Флайворлд безо всяких ©: куда ни глянь, повсюду дерьмо, у них ведь ребенок только что родился, этим людям сейчас не до общепринятых санитарно-гигиенических норм, хотя, быть может, и временно. А Триша грустно так покачивает своим симпатичным хоботком и говорит, что не в дерьме дело-то, а в том, чтобы выбраться вместе, всей семьей; тебя, мол, Клайв, с некоторых пор вообще ни хрена не радует; ты на ребят погляди, как они все разжужжались у окна — им же не терпится поехать.

И в самом деле, малыши Жермен с Брайони и бедный дурачок Эдмунд, ну карлик карликом, бьются головой в стекло, в лепешку расшибиться готовы, лишь бы проникнуть наружу, только и слышно: бац-бац-бац. Они ведь, глупенькие, не

соображают ничего. По моим понятиям, шансы остаться в живых после посещения Флайворлд© у них ничтожные, самое большее один к двадцати, а у Эдмунда один к ста. Но Триша уперлась, так что мы с ней перебрасываемся ядовитыми, до жути изматывающими репликами вплоть до наступления опасной тишины, а потом они все вываливаются, визжа от радости, наружу через вентиляционную решетку за газовой колонкой, и в доме становится тихо.

Что ребят завело, помимо обещанного праздника дерьма, так это возможность увидеть первое появление комаров-толстоножек. Как гласит народное предание, существо столь нескладное, тяжеловесное и бестолковое, как комар-толстоножка, по законам физики летать никоим образом не может. Эта нелепая черная несущая система, снабженная двумя парами удлиненных хромых лапок и парой вялых щупалец, должна по всем правилам тянуть их вниз, к земле, что равносильно эволюционному исчезновению. Они и впрямь летают не особенно хорошо, редко поднимаются выше крапивных зарослей. При взгляде на них кажется, что их вот-вот настигнет возмездие в образе крылатого хищника, малиновки или дрозда, а может, просто земное

притяжение шибанет — и конец тогда комарам-толстоножкам, исчезнут еще на год. Но как-то они все же справляются, толстоножки.

Ребята рвутся поглядеть на такое дело, играют в толстоножек по всему дому, хихикая, камнем падают на ковер с диванного подлокотника. Теперь им это зрелище живьем подавай. Понятно, что другой такой возможности у них скорее всего не будет.

Они, я полагаю, надеются, что удастся как-нибудь завязать беседу или, может, автограф попросить, и в этом ничего такого нет, ведь толстоножки народ простой, не важничают и на контакт идут легко, чего не скажешь о большинстве наших многочисленных родных и близких, об этих заклятых врагах, которые ездят в отпуск по дешевке, оторваться среди безумных, безвкусных наслаждений Флайворлда©, в окружении зазывал и разноцветных шариков.

Значит, дело было так: познакомились мы с Тришей во Флайворлде© во время последнего, отчаянного всплеска вакханалии, прямо перед началом долгой осенней спячки. Там она и нарисовалась, за самыми воротами: эдакое пляшущее в воздухе видение, облепленное эфемерным роем только что вылупившихся полуобморочных

веснянок. Те со своими мягкими крылышками-паутинками никаких надежд, по правде говоря, не подавали, а Триша вилась себе над ними, элегантно выписывая не то эллипс, не то трапецию — эта фигура впоследствии стала такой знакомой и в конце концов начала необъяснимым образом раздражать. Пьяные от желания, мы полетели прямо ко мне домой, и скоро детки уже поспевали в большом ломте сырой ветчины, который завалился за холодильник и там потихоньку доходил до кондиции. Бурное, черт побери, было времечко, что да, то да!

Возможно, воспоминание о нашей первой встрече отчасти и вызвало бурю сегодня утром. Она считает, что я стал домоседом, зациклился на этом доме, полностью настроился на его ритм: тут тебе и нередкие вторжения опасных незваных гостей, и волнения по поводу разрастающегося паучьего племени — появление ребенка только усугубило проблему, — и, разумеется, уклад жизни наших милейших хозяев. Помимо еды в избытке, с пищащим младенцем в нашем быту появились новые возможности для размножения (каковыми я, в силу неких причин, не чувствую желания воспользоваться — по-видимому, из-за усталости). Не скажешь, однако, что пополнение

в семействе относительно облегчает жизнь. Беда в том, что перемены наши заметны извне, равно как и снизу. Всевозможные детские запахи окутывают весь дом, просачиваются вниз и за угол, ежедневно притягивая бездну пришельцев с недобрыми намерениями, впрочем, не таких уж опасных, как правило. Например, классический образчик неполноценности — синие падальные мухи: напрочь лишенные интеллекта, они влетают прямиком в паутину (мириады таких ловушек украшают теперь каждый уголок кухни, гостиной и связывающего их коридора); а то забредет порой неповоротливая ранняя оса из большого гнезда на чердаке, сдуру вообразив, что уже лето, поскольку чертово отопление постоянно врублено на всю катушку. Да нет же, идиотка, это тебе не июль. До чего эти осы доверчивы — по правде говоря, ничем не лучше расфуфыренных, бестолковых муравьев.

Но что действительно беспокоит все сильнее, так это ситуация внизу, в районе пола. Щетинохвостики барахтаются в липкой гадости вокруг раковины, черные и рыжие тараканы прячутся за плитой. По загаженным меламиновым покрытиям бегают черные муравьи в поисках просыпанного сахара и детского питания. Жу-

ки-придурки, и те повылезали из сырой серой почвы, из-под камней и захватили власть в затхлой прохладе кладовки. Я им, этим громадным вонючим существам, пытаюсь просто и доходчиво объяснить: ничего вам тут не обломится, одно дерьмо, так что, ребята, валите все в сад, вам же лучше будет. Но жуки способны унюхать улитку за сорок шагов, от них не скроешь блестящие, словно усыпанные драгоценностями, беспорядочные дорожки, что тянутся от входной двери к подвалу и кухне. Жуки лишь машут мне своими толстыми хвостами и говорят на своем грубом, примитивном садовом жаргоне, а те че за дело, мошкара, ты ваще заткни хлебало.

Помимо вновь появившихся пауков, даже элементарное передвижение по дому превращающих в хитроумную задачу — особо отмечу обалденно страшного *tegenaria gigantea,* обосновавшегося теперь в осыпающейся штукатурке трещины слева от кухонного окна, рыкающего, истекающего слюной и изрыгающего жуткие проклятия, шустро снуя по своей липкой смертоносной паутине, а временами просто сидя там в ожидании, перекосив морду и злобно раззявившись, — так вот, помимо всех этих дел, изменения происходят и с людьми, причем речь

тут не только о довольно обыденном пришествии сына человеческого.

Дело в том, что в воздухе сгущается некая энтропия, и это не просто голое подзрение.

То есть все мы, черт побери, благодарны им за беспорядок — следствие явного упадка сил, когда человека не хватает даже на то, чтобы хлебные крошки смести. В конце концов, рай — это бардак в доме. Но проблемы с этими людьми есть, и проблемы серьезные.

Дело в том, что мужчина, кажется, сходит с ума.

Раз вечером я наблюдал, как он гонялся на четвереньках по полу гостиной за парой вполне миролюбиво настроенных тараканов. Ждал их появления, а когда они выползли, бросился на них, да еще, с молотком, чтоб его. Спрашивается, зачем из пушки по воробьям стрелять? Я закричал, чтобы предупредить их, но поздно, слишком поздно. Еще одна лепешка коричневой дряни на ковре, и только. Он и на этом не остановился — сразу же ринулся на щетинохвостиков; правда, тут ему меньше повезло.

Проблема ведь в том и состоит: возросшая активность насекомых послужила толчком к развитию у него психоза, и выйти из этого состояния

он сможет, только полностью нас истребив. Это, очевидно, параноидальный гнев, перенесенный с ребенка (напасть на которого ему мешают принятые в человеческом обществе условности) на прочих малых бессловесных тварей, убийство коих не навлечет осуждения. Такова, в общем, моя теория. Как бы то ни было, когда-то мы жили спокойно, теперь же по дому бродит страх. А значит, я должен контролировать вторжения собратьев, чтобы они держались в рамках допустимого, иначе всех нас ждут печальные последствия.

Пикирую к окну. Снаружи, в крохотном, обнесенном стеной прямоугольном садике, обсаженном по периметру чахлыми кустиками и жухлыми многолетними морозником и геранью, наездник со своим дрожащим на ветерке громадным яйцекладом нацелился на беспомощную дуру гусеницу — кажется, белую капустницу. Бросаясь на беднягу, он ловит мой взгляд. Его лицо не выражает ничего, кроме, пожалуй, презрения. Большинство обитателей внешнего мира считают нас декадентами; по-моему, это уж слишком. Особенно — позволю себе небольшое нравоучение — со стороны того, кто выращивает свою добычу в чужом, еще живом организме.

Помахав наезднику, бормочу про себя молитву

за упокой гусеницы и ее родителей. Подумать только — стать сиротой в трехнедельном возрасте, чтобы потом тебя заживо сожрали. Кому охота быть гусеницей?

Ну да ладно; первоочередная задача сегодня — разобраться со слепнем. Я видел, как этот кровопийца с утра пораньше околачивался в спальне: насекомое наглое, легко заметное — словом, опаснее не бывает. Эти отвратительные кусачие зверюги отличаются примитивным развитием и провинциальными манерами, у них нет ни малейшего понятия о такте и прочих тонкостях. Остается только догадываться, что именно ему здесь понадобилось. Обычно они ошиваются поближе к скотине, так что он явно не туда попал. Они, слепни то бишь, любят грозу (странное, на мой взгляд, пристрастие, но каждому свое), однако последние несколько дней даже намека на дождь не было. А этот нагнетает тут атмосферу своим шумным присутствием. Может, удастся уговорить его свалить. Хотя не знаю.

Пролетаю через гостиную, двигаюсь по коридору и вверх по лестнице, заглядываю в свободную спальню, где открыто окно — по-видимому, в него-то этот тип и вломился незваным гостем. Сейчас его здесь не видно. Есть надежда, что

убрался тем же путем, каким пришел. Боюсь, однако, что нет. Называйте меня как угодно, хоть экстрасенсом, но я чувствую его присутствие в моем доме и отлично представляю себе, куда он забрался.

В хозяйской спальне темно и сильно пахнет чем-то сладким, молочным. Женщина в постели спит, ее чудовищно требовательное, избалованное дитя, покоящееся рядом в кроватке, — тоже. Она все время спит, когда спит ребенок, что происходит нечасто. Обычно он плачет, в особенности при отце. Тришу раздражает это постоянное хныканье, а еще больше — вид матери: совсем обессилела, прямо живой труп. Лучше бы за собой следила, обычно говорит Триша, наблюдая, как женщина бродит по комнатам, пошатываясь под грузом очередных хлопот о младенце. У мужчины приступы праздности чередуются с эксцентричными выходками, за что Триша почему-то упрекает меня, как будто я сам такой же. Вам это может показаться смешным, но она постоянно меня обвиняет: якобы я забыл, что значит быть насекомым, перестал воспринимать свободу как осознанную необходимость.

Ну конечно, вот и он, слепень: окольными путями приближается к кроватке, то крутится

вблизи, то отдаляется в поисках места, где можно получше пообедать. Подлетаю наперерез, пристраиваюсь за ним, держась того же курса, но он уходит в отрыв и садится на верхний край желтого одеяльца, прикрывающего ребенка почти до самого подбородка, даже глазом не поведя в мою сторону. Потираю крылышки в попытке изобразить беспечность, затем, спланировав, подсаживаюсь к нему.

— Здорово, дружище, — говорю радостно. — Я Клайв. Вашего брата в этих краях не часто встретишь. Потерялся?

Слепень смотрит на меня с любопытством.

— Я потерялся? — в низком дребезжащем голосе деревенского мужлана сквозят саркастические нотки. — Я потерялся? Минуточку… — Изображая на лице задумчивость: — Сижу я, стало быть, голодный, подумываю об обеде, гляжу — передо мной неподвижно распростерт совершенно восхитительный младенец, причем до его мягкой кожицы каких-нибудь два сантиметра.

Принимая все это во внимание, как-то не слишком похоже, что я потерялся… а, *Клайв?*

Начало не слишком обнадеживающее. Не меняя дружелюбного, сдержанного тона, перехожу прямо к делу.

— Выходит, бесполезно тебя уговаривать не кусать ребенка, так, что ли?

— Скорее я тебя, муха домашняя, уговорю в дерьме не валяться, — фыркает слепень.

— Я ведь по-дружески прошу, только и всего. Мне здесь жить, — говорю я этой твари.

Слепень, ухмыльнувшись, передвигается на несколько сантиметров поближе к лицу младенца.

— А где же наш малыш? — насмешливо пищит он, подражая героям мультиков, прикрывает свои огромные, сложно устроенные глазищи тоненькими усиками, а затем внезапно распахивает их. — А вот он где!

Комариный укус — работа тонкая, искусная. Люди часто осознают, что их укусили, только спустя долгое время, когда препятствующий свертыванию крови антикоагулянт уже оказал свое действие и комар улетел. Слепень — дело другое. Точно вам говорю, укус слепня *слышно* за тридцать ярдов — слышно, как хрустят эти здоровенные челюсти, мгновенно вызывая сильнейшую боль.

Младенец издает ужасный вопль. Мать тут же просыпается с выражением безмолвной паники на лице, сбрасывает одеяло и бросается, спотыка-

ясь, к кроватке.

— Господи! — У нее перехватывает дыхание, когда, откинув волосы с глаз, она видит алую кровь, струйкой бегущую на одеяльце.

Подхватив ребенка, она прижимает его к себе, вытирает кровь своей ночнушкой и оглядывает комнату в поисках виновного. Временно пресытившись, слепень победоносно летает вокруг люстры, на его жесткой щетине — свежая младенческая кровь. Женщина замечает его, но спросонья не вполне соображает, что делать, да и сын ей мешает. Бог ты мой, ну и разбитый же вид у этой дурехи несчастной: серовато-бледное, ввалившееся лицо все в морщинах, глаза красные, волосы цвета тусклой глины. Такой вид, будто она умирает или, может, уже умерла, будто майская муха, что весь август напролет цепляется за жизнь во влажных сумерках. Схватив лежащий у постели журнал, она неуклюже пытается прихлопнуть слепня — безуспешно. Тому почти не приходится уворачиваться, он просто висит в воздухе у нее над головой, посмеиваясь себе под нос.

— Как отсюда выбраться по-быстрому? — кричит слепень.

— Попробуй так же, как пришел, через свобод-

ную спальню: первый поворот направо за дверью, верхнее окно всегда открыто, — недовольно бормочу я, укрывшись снаружи на шторе.

— Весьма признателен, весьма признателен. Мерси, *Клайв*.

Только его и видели. Поток воздуха ерошит волоски у меня на спине.

Женщина по-прежнему обнимает ребенка, воркует над ним, целует в лоб, но это чертово создание все равно продолжает вопить как одержимое. По лицу у него до сих пор течет кровь. Глубоко укусил слепень.

В результате этих событий мужчина опять выйдет на тропу войны со своим молотком, охваченный жаждой убивать. Может, на сей раз сюда добавится еще и аэрозоль-инсектицид, а также гипнотически-притягательная липкая бумага от мух, вся в сладких каплях. Это ежедневный повод для тревог — не знаю, что и делать, черт побери. И ведь никакой моральной поддержки. Триша придерживается политики невмешательства в домашние дела. Где один таракан, там и десять, будь что будет, ну и так далее — такая у нее мантра. А если мужчина с упорством продолжит свою кампанию по уничтожению, просто переедем куда-нибудь. Да ну тебя, Клайв, ты хуже

него стал, говорит она в раздражении, показывая на скрючившегося на диване маньяка, чьим мозгом управляют чужеродные силы. Мы, мухи, по-другому устроены, говорит она. Чего нам переживать по всякому поводу — либо остаемся, либо уходим.

И она права, конечно. Не в наших традициях навязываться прочим собратьям. Но мне и подумать тяжело о каком-либо перемещении: еще один дом, где надо снова вынюхивать пауков, на этот раз с обузой в виде двадцати семи ребятишек — нет уж, слишком поздно, по моим понятиям. Иногда на некотором расстоянии перед собой я вижу отблески смерти, похожие на пузырьки шипучки: пляшущий в воздухе столб расплывается в летнем мареве, но это не мираж, смерть и впрямь где-то там, на некотором расстоянии.

Наша жизнь не так уж коротка, как это может вам представиться. Вы, наверное, жалеете нас за скудный, казалось бы, удел, но коротким этот путь не назовешь. Другого мы не знаем и не ждем. Сколько мне еще осталось — где-то четверть отпущенного срока? Пятая часть? Кто знает? Дней не сочтешь.

Я подумывал о том, чтобы убить его, мужчину. Но вы, ребята, постепенно приспосабливаетесь

к нашим токсинам. Возможно, нам, насекомым, следует всем вместе пораскинуть мозгами и придумать что-нибудь новенькое. Несколько дней назад, после очередной оргии насилия — на сей раз объектом явилась пара безвредных, хотя, может, и сомнительных в эстетическом плане слизняков, которые добрались до входа в кухню и только тут осознали, что это им, в конце концов, не переход по садовой стене, — я прошмыгнул через окно прихожей на улицу, похлопотать там внизу насчет собачьего дерьма. Слава богу, в этом районе так и не подхватили инициативу уборки территории. Секунд через пять я нашел то, что искал: длинную, лоснящуюся светло-коричневую собачью какашку, конец которой растекся поносной лужицей — показатель типично легкомысленного отношения к питанию животных. Ухватив с налету кусочек и вертикально взлетев, я моментально вернулся в дом через то же окно и бесшумно спикировал на сооруженный впопыхах бутерброд с ветчиной, лежавший на тарелке возле левого локтя хозяина. Потоптался на хлебе, пару раз срыгнул, потоптался еще немного, потер передние лапки одна о другую, затем, бросив на

ходу «Bon appétit»[23], рванул вверх и прочь, а после со стены наблюдал, весь дрожа от возбуждения, радуясь успешно проведенной операции, как он поглощал свой осквернённый обед. Дело было рискованное, меня могли в доли секунды размазать по столу, а в результате он отделался нетяжелым пищевым отравлением, вероятно, стрептококковым. Приступ длился три дня и позволил ему, этому здоровенному нюне, спокойно валяться на диване и скулить, ища сочувствия у жены.

Я-то надеялся по меньшей мере на токсоплазмоз: слепота, безумие и т. д., может, даже остановка работы почек. Но нет, вместо этого — лишь легкое физическое недомогание, вялость и заметно укрепившееся намерение идти войной на всех нас, кто еще остался.

Вернемся к моменту, когда бурная деятельность в хозяйской спальне утихла. Обнаруживаю, что я не один, на занавеске затихарился представитель абсолютно незаслуженно оклеветанного, спокойного и уравновешенного вида — комар. Вы, вероятно, чрезвычайно враждебно настроены по отношению к этому отребью? Зря, не по адресу.

---

[23] Примечания: 23
Bon appétit — приятного аппетита *(фр.).*

Они ведь приспособились к малярии, а вам кто мешает? Этот вообще самец, а значит, не причиняет человечеству ни малейших неприятностей, вот его жена — та со своим нежным голодным хоботком подзуживает, полагаю, в соседней комнате. Мы с этим типом вчера столкнулись, обменялись стандартными любезностями. Он сообщил мне, что скоро его здесь не будет: собирается вернуться в сырую, вонючую кирпичную дренажную шахту в нескольких сотнях ярдов от этого дома, потусоваться в родных местах. На мое бодрое приветствие комар сочувственно качает головой.

— От этих слепней сплошные проблемы. Ну что ты с ними будешь делать, с этой сволочью? — говорит он.

— Да кому ты рассказываешь, — вздыхаю я. — Как этот мужлан неотесанный здесь вообще очутился, вот что хотелось бы понять. От него скотным двором так и несло. Должно быть, издалека прилетел.

— И он, и много кто еще, — отвечает комар. — В гостиной вчера сверчка встретил: совершенно ни в какие ворота. Спросил его, что происходит, но какой с ними разговор: на-на-на-на-на — и все, понимаешь.

Комар потирает свои большие черные задние лапки друг о дружку, довольно достоверно изображая сцену.

— Плюс к тому, — продолжает он, — тут еще эти хрущи и многоножки. Порядка вообще никакого. Дом разваливается. Я бы на твоем месте валил отсюда. Что-то странное назревает. А вчера в саду этот чертов ворон был.

— Знаешь, думал я о том, чтобы уйти, — говорю я ему.

— Нашего четвертого ребенка, Алекса, съел этот гад, громадный паук в кухне. Я закричал, но он не услышал — радио работало, так прямо в сеть и влетел.

— Да, жалко…

— Ну да, дети, понимаешь… Короче, мы сваливаем, как только Эмма закончит свою вечернюю трапезу… осторожно, она к занавескам тянется…

Мы оба взлетаем, чуть было не столкнувшись в растущем проеме между раздвигаемыми занавесками, потом садимся как можно незаметнее на стену спальни, по центру. Похоже, мамаша решила отнести ребенка вниз — может, укус слепня обработать, хотя беспокоиться ей нечего: ранка затянется и к вечеру пройдет, опасности заражения нет. Мы с комаром некоторое время

медлим, молча предаваясь каждый своим мыслям. Задумываюсь ненадолго о многоножках: они — свидетельство того, что дом возвращается в свое как бы первобытное состояние, теряя час за часом легкую патину человеческого воздействия. Дальше появятся мокрицы, а будет ли кому их встретить, это уже другой вопрос. Триша, как всегда, совершенно права. Мы не созданы для борьбы с растворением — мы отдаемся этому процессу, в то время как вы боретесь — и все равно отдаетесь. Эти бессмысленные затраты энергии подобны тончайшей струйке пара, следу, поначалу четко и ясно прочерченному на вечернем небе, который почти незаметно размывается и после сходит на нет.

Спустя немного времени комар, быстро пробормотав что-то на прощание, уносится вдогонку за своей партнершей. Мне слышно, как внизу медленно нарастает вечерняя ссора, словно складываясь по порядку из кирпичиков: все громче человеческие голоса, все явственнее жалобные и враждебные модуляции. И аккомпанементом ко всему этому — шелест крылышек насекомых по стеклу, шуршание ножек по коврам и линолеуму, трение челюстей о дерево и камень, негромкое тиканье часов на стене.

РАДУ, БЛИН

1.

…в общем, у нас тут по идее вечер специально в честь Анны в баре на Баттерси-райз, все сидят, напрягаются — веселье изображают, якобы у нее с ногами все путем, как вдруг входит Биба с этим не то бомжом, не то психом, и все замолкают и смотрят, ждут объяснений.

Для Бибы это типично, если кто не знает. Мы все пришли ради Анны, она же в Америку уезжает, попытаться что-нибудь сделать со своими ногами, ее, может, через год уже не будет — и что? Вместо этого весь первый час у нас только и разговоров, где Биба, где Биба, и ведь *ясно же,* что это будет ее очередное явление, всегда она так — не выносит, когда все внимание кому-то другому, пусть даже человек умирает, как Анна, видимо.

Всегда она так.

Как на мое двадцатиоднолетие: нарисовалась в парандже, заявляет, что «прониклась» исламом, потом весь вечер не пьет, с мужиками не разговаривает, да еще разборчивая такая, в еде ковыряется — типа, что за дела?

Стоит, короче, перед нами с таким надменным видом, как будто она тут самая главная, а этот бездомный, весь грязный, опустившийся, как уставится жадно на хлеб и на «Сансер» тоже, а на штанах у него спереди виднеется пятно, типа, обмочился, и вообще, она б хоть на секунду задумалась, вспомнила об Анне, не говоря уж про Сола и Дипака, хозяев заведения, которые уже начали нехорошо поглядывать в нашу сторону из дальнего угла, просто дала бы этому бродяге денег, и дело с концом.

Тоби — он был у Анны вроде бойфренда еще до того, как у нее отвердели ноги и она перестала заниматься сексом, — встает, обнимает Бибу, привет, говорит, Биба, да мы тебя уже потеряли, да где ты пропадала, а потом, спокойненько так, а приятель твой кто будет? После сей удачно поданной реплики, завладев вниманием тусовки, Биба оборачивается к бомжу, руку ему на плечо положила, при этом выражение лица у нее серьезное такое, прямо как у журналиста на четвертом канале, в передаче о бедности где-нибудь на северо-востоке Англии, и говорит, медленно так:

— Ребята, это Раду. Я познакомилась с ним на Бромптон-роуд, где он просил милостыню. Ну, понимаете, побирался, типа, на улице. Вот это

висело у него на шее…

Тут Биба вынимает из своей «Фурлы» грязную сложенную картонку, разворачивает и поднимает, чтобы всем было видно.

Там написано:

«Меня Зовут Раду.
Я Румынский Беженец.
Нужны Деньги.
Помогите Пожалуйста».

Ну, мы все молча читаем это дело, подозрительно глядим на бомжа, а бомж уткнулся глазами в пол и изредка украдкой бросает страстные взгляды на еду, а Биба говорит:

— Понимаете, он из Бухареста, это, типа, столица Румынии. Я так и знала, что вы не будете против, если он тоже придет — он в бегах, скрывается от секретной службы, а это такие сволочи, просто ужас.

В общем, высказалась, испортила нам всю атмосферу, вечер пошел наперекосяк, никто уже не знает, что теперь делать, куда смотреть, а сама берет и изображает на лице такое глобальное сочувствие:

— Ну что, — говорит, — Анна, как твои ноги?

Тогда Анна начинает всем рассказывать, что у

нее происходит с ногами, и на этом я отключаюсь, полностью, ведь это же невозможно, дико, страшно; какую-то секунду я на нее смотрю и просто *умоляю,* чтоб она не снимала свою дурацкую накидку, а то, знаете, я от этого всегда на измену сажусь, конкретно. Как хотите это называйте: черствость, наплевательское отношение и так далее, я все понимаю, типа, Анна серьезно больна, это я как-нибудь переживу, вот только не надо мне ничего показывать, о'кей? Вот *видеть* мне ничего этого не нужно — нет, серьезно. А пока я пытаюсь вызвать мысленное затемнение и игнорировать происходящее вокруг — ошибка известная, — Солу удается раздобыть стул, и тут этот Раду, блин, этот румынский бродяга в бегах, оказывается прямо рядом *со мной:* уселся поудобнее и сидит, носом шмыгает странно так, будто простужен.

Пока он устраивается, меня обдает вонью, как волной; мощь поразительная: несет перезрелым пармезаном, заплесневелыми хлебными крошками и мочой. Нет, ну просто *райское* наслаждение!

Но я все же говорю, медленно-медленно, как обычно разговариваешь с иностранцами, детьми, стариками и инвалидами: привет. Очень. При-

ятно. Я. Эмили. Вина. Хочешь? Но он ничего не понимает, только морщится, хватает булку и грызет, как какой-нибудь хищник умственно отсталый, а я ему, ну ладно, о'кей, все ясно, Раду, сиди, блин, ешь хоть до посинения, мне-то что.

А справа Доминик, наливает мне еще стакан белого, ухмыляется понимающе так и шепчет, поздравляю, нашла себе нового приятеля, ха-ха, а я просто убить его готова взглядом, и тут он говорит, ну что, Эмили, Ника давно не видела?

И этот вопрос раздражает еще сильнее, чем намеки на бомжа.

Ника я последний раз видела месяцев семь назад, он тогда числился менеджером тупой инди-группы под названием «Формал гравалакс интифада», мы были на их концерте в Кэмдене, сплошная тоска, как и следовало ожидать, он еще пытался стрясти деньги по контракту то ли с владельца помещения, то ли с хозяина бара, а солист группы, идиот этот, патлы болтаются, звать не то Рипл, не то Флек, что-то такое, так вот, этот придурок истерически мечется на задворках, а все из-за чего — из-за того, что ассистент сцены не справился как следует с задачей, и девять человек зрителей большую часть вечера были лишены возможности слышать его писклявый голос, ну, в

общем, все как-то напряженно, и тут Ник повернулся ко мне с таким видом, как будто ему уже все равно, и заявляет, знаешь, все, с меня хватит.

Я его начинаю обнимать, успокаивать вовсю, ладно, говорю, нормально все, не переживай, пошли ты их, все равно отстой полный, особенно солист, вывести бы его наружу и попинать слегонца, лохмы пообо́рвать или там на ботинки харкнуть, а Ник говорит, нет, я не то имел в виду, я про вот *это*, про нас с тобой. С меня хватит. Никуда они не приведут. Наши отношения.

Мне тогда еще пришло в голову: а куда, собственно, они его должны были привести? В Шеффилд? На Ланцароте? В Могадиш?

Я прямо выпала от этого заявления, уже не обнимаю его, просто секунду стою, думаю, что делать, а потом делаю то, что обычно делаю в особо критические моменты, то есть направляюсь к бару, заказываю водку с диет-тоником и одним большим залпом опрокидываю, вокруг наивные ребята из группы, все в черном, бубнят, как ненормальные, без конца, о том, кто лучше, «Дерьмо собачье», «Мартых-насильник» или «Внимание: выпадение ануса», а вы слыхали новый сингл «Торговцев пиздой», и так далее, и тому подобная фигня, которую я никогда толком

не понимала, а в конце концов поднимаю голову: хозяина нет, Рипла или Флека нет, Ника тоже нет, а у меня весь рукав куртки насквозь мокрый, это я локтем в лужу «Карлсберга» вляпалась, воняет теперь, а химчистку я могу себе позволить только раз в год.

С тех пор я Ника не видела, если уж вам так интересно. А Доминик со своими вопросами достал, потому что суть такая: все считают, что я тут сижу, страдаю или типа того, может, отчасти так оно и есть, может, я еще не полностью избавилась от Ника, что-то оставшееся от Ника размазано у меня по лбу, вроде этих, которые у Христа на руках — стигматы, кажется, только в моем случае это имеет куда меньшее религиозное значение.

Когда у Анны все это началось, когда проблема была только в ногах, Ник, помнится, то и дело называл ее Грегором и предлагал запереть Анну в комнате и бросаться в нее гнилыми фруктами — и это было так типично для Ника, юмор такой, ни на что не похожий, сплошной сюр, смешно до ужаса, но при этом ему на всех абсолютно наплевать. И врет к тому же.

Короче, слева от меня сидит Раду, навалился на закуску, оливки всякие, беседой по-прежнему не особо интересуется, так что приходится веж-

ливо разговаривать с Домом, хоть его вопросы и вгоняют в полный депресняк, да и вообще, Доминик почти весь вечер сидит надутый, причем конкретно надутый. Они только что расстались с Софи, так что, насколько я знаю Доминика, сегодня вечером у него вполне могут возникнуть планы насчет Бибы, она ему всегда нравилась, и потом, это последняя из возможных перестановок, поскольку Доминик спал со всеми нашими женщинами, кроме Бибы, а Биба — со всеми мужиками, кроме Доминика, нет, нам тут явно нужны новые гены, но, похоже, Биба явилась слишком поздно, да еще этот бомж с ней, короче, Доминик как бы выдохся и в результате сдался, решил весь вечер просидеть надувшись. Я, чтобы не остаться в долгу, спрашиваю его, встречается ли Софи с кем-нибудь еще; это вызывает у него ироническую ухмылку во весь рот и риторический вопрос, а ты как думаешь, Эмили?

Потом он подливает мне вина — мы, похоже, переходим на красное — и задает еще вопрос про Ника, но этот удар я просто беру и отражаю, да какая разница, говорю, ну, в общем, на этом мы заключаем как бы неписаный договор о перемирии, хватит уже о Нике и Софи, и он тогда начинает рассказывать про огромный виноград-

ник, который его отец купил в… э-э… Ардеше, это во Франции, а после принимается подробно перечислять, какие, типа, сорта винограда и вина бывают на юге Франции, отчего я слегка обалдеваю, но все равно продолжаю цепляться за разговор, поскольку альтернативный вариант ничего хорошего не даст, просто не катит такой альтернативный вариант — вовлекать в общение бомжа Раду.

Доминик мне, кстати, чем-то даже нравится, хоть он и фашист до мозга костей и ненавидит кучу народу, целые социальные группы, включая женщин, пенсионеров, иностранцев, геев, низшие классы и т. д., и т. п., но все равно он, по-моему, бывает совершенно очарователен, если время от времени отключаться и игнорировать всю эту хренотень: некую жалость к себе — свойство мальчика-нытика из частной школы, неоправданное чувство собственного превосходства и, самое главное, его жуткие блейзеры. Поэтому я изо всех сил стараюсь сосредоточиться, выказываю интерес к микроэкономике виноградарства, с завороженным видом склоняю голову набок, но… но не могу я, просто не могу. Что-то у меня вертится в голове, не дает покоя, может, эта история с Ником, а может, бедняжка Анна с ее

ногами, или даже бомж Раду — в общем, не могу я сосредоточиться на его дипломе, и все. А тут еще эта фишка, самый любимый из моих снов наяву накатывает: ощущение, как будто я привязана к Земле таким как бы электропроводом, обмотанным вокруг пояса, нажмешь кнопку — и провод разматывается в космосе, и отлетаешь все дальше и дальше, позади остается весь космический хлам, планеты, и астероиды, и большие звезды, и сверхновые, все дальше и дальше, к месту, где никого нет и никто тебя не знает, где тихо, черно и офигенно холодно.

А еще там есть кнопка, на которую если нажмешь, то провод отщелкнется и ты просто улетишь прочь без всяких шансов вернуться, а от Земли даже пятнышка или отблеска не останется на расстоянии всех этих световых лет.

Я, конечно, в своих снах наяву ни разу не нажимала на вторую кнопку. Но приятно знать, что она существует.

Наверное, все дело в моем полностью отсутствующем выражении лица, это оно меня выдает, потому что Доминик останавливается посередине своего захватывающего повествования о процессе ферментации и говорит, Эмили, Эмили, эй, ты чего.

А тут на меня как навалится это предчувствие, огромное такое, я заглядываю ему в глаза, хватаю за оба запястья и говорю, *sotto voce*[24]:

— Доминик, что бы ни произошло, я тебя прошу, не давай мне сегодня ночью трахаться с этим бродягой.

А Дом посмеивается себе, типа, не вполне понимает, чего я хочу, видно, как у него в голове вращаются шестеренки, он переваривает информацию и решает, что, видимо, все же речь не о нем, потому что я его действительно не хочу, так что он просто говорит, да ладно тебе, Эм, давай, мать, соберись.

Но собраться мне не удается.

Симба, которая сегодня вечером не смогла прийти, потому что работает — она поставляет хумус в большой деликатесный магазин на Фулэм-роуд и только что получила здоровенный заказ, на вечер какого-то художника, в общем, в данный момент она, типа, по уши в коричневатой жиже, — так вот, Симба как-то сказала, как классно, что мы все, в смысле наша тусовка, настоящие друзья… ну да, за эти годы все успели между собой переспать, иногда получалось как-то неудобно,

---

[24] Примечания: 24
Sotto voce — вполголоса *(ит.).*

например, когда Софи спала со всеми мужиками кроме Раджа и еще с двумя девчонками, но все это в конце концов оказалось не важно, потому что наша дружба вынесла испытание временем. Так прямо и сказала: вынесла испытание временем. Я еще тогда подумала, да что ты гонишь, Симба, заткнись, это тебя «Е» пробило, пойди потанцуй. Но вот сейчас, оглядывая всех сидящих за столом, я правда не понимаю, что нас держит на плаву, может, что-то хрупкое, призрачное, вроде поверхностного натяжения, как в капле крови, пленка такая тоненькая, вот-вот лопнет от малейшего беспокойного дуновения. А может, дело еще хуже: просто мы до того устали, что нас уже ни на что другое не хватает — то есть ни на что лучшее, — вот и болтаемся вместе. По-моему, Симба, пока трепалась, случайно наткнулась как раз на подходящее слово — «выносить» то есть. Ага, правильно, Сим, небольшая кучка народу, все друг с другом трахаются, а в промежутках как-то умудряются друг друга выносить.

Короче, думаю я обо всем об этом и впадаю в крутой депресняк, и тут смотрю — ой, блин, на том конце стола Анна сняла-таки свое покрывало.

Видны две черные конечности, блестящие и

твердые.

В общем, про остаток вечера вы меня лучше не спрашивайте.

Сами что-нибудь придумайте. Ни в чем себе не отказывайте. Да и мне, если на то пошло. По-моему, у меня в жизни все было бы гораздо яснее, если бы кто-нибудь заполнял за меня пропуски, эти звенящие часы, проведенные в ступоре и в полукоме.

Помню только, как все начало куда-то проваливаться где-то в полдесятого, после кокса и лангустинов. А дальше…

А дальше…

Ну, а дальше понятно что, вы как будто сами не догадываетесь. Спустя пятнадцать часов просыпаюсь от до боли знакомого букета — заплесневелые хлебные крошки, перезрелый пармезан и моча, — оглядываю постель и тут же: блин, блин, мать твою, ну как же *такое* могло произойти! Закрыв глаза, в отчаянии возношу молитву. И она, кажется, услышана: я неожиданно замечаю, что лежу в Бибиной спальне для гостей: натертые до блеска стены, лампы от Конрана, сделанные из бинтов, фотография дохлого палтуса в рамке; похоже, я тут отключилась, так что, может быть — ну может же такое быть, — все нормально, ведь

если это так, то не исключено, что мы с бомжом не трахались, то есть дело, возможно, просто в том, что не хватило кроватей, вот и все.

Тут я инстинктивно провожу рукой между ног: нет, похоже, моя молитва услышана не была — по сути, молитва была полностью проигнорирована, потому что там, внизу, запеклись корочкой четыре миллиона прото-румын, и тут я снова: блин, блин, блин и т. д.

Внезапно снизу слышится, как Биба с этим своим несравненным смехом-мяуканьем открывает входную дверь, затем вверх по спирали поднимается голос Доминика, и, хоть я еще толком не проснулась, но как же мне хочется оказаться где-нибудь в другом месте. Я силюсь разобрать, о чем они говорят; Доминик спрашивает, встала я уже или нет, тогда я вылезаю из постели, ныряю в Бибин далеко не лучший платяной шкаф, плотно закрываю за собой дверцу и устраиваюсь там, свернувшись на полу посреди туфель, старого белья и годами не ношенных платьев. Слышу, как кто-то из них стучится в дверь, потом входит в комнату, тут Биба говорит, ой, странно, она же только что здесь была, когда я ей чай приносила, спала себе крепко, а Доминик тихонько хихикает, и снова Биба со своим долбаным театральным

шепотом, жеманничает — дальше некуда:

— Знаешь что, она, по-моему, в шкафу…

А я, про себя, отвалите вы, да отвалите же, оставьте меня в покое, но тут дверца шкафа открывается, показывается идиотская физиономия Доминика: смотрит на меня сверху вниз, ухмыляется. К этому моменту я совсем озверела, хватаю туфлю, вскакиваю и как дам ему в грудь этой мерзкой Бибиной босоножкой, без ремешка, с каблуком-стилетто, из серии «трахни меня», а сама ору, ах ты, сволочь, я тебя умоляла не допускать ничего такого, а Биба — она стонет от смеха — пытается вырвать у меня туфлю, каблук-дешевка отламывается, Доминик в истерике валится на постель, от этого просыпается Раду и моментально вскакивает с кровати, вопя чего-то по-румынски — думает, очевидно, что за ним пришли из секретной службы.

Вот так и начался у меня день. А у вас как?

Ползу домой опозоренная, немытая, на полпути в метро изо всех сил пытаюсь посмотреть на все это с рациональной стороны, как бы философски. Ну ладно, ну случилось — что теперь, самобичеванием заниматься? С кем не бывает — ну, разве что с некоторыми, а если Биба попробует прилюдно поднять эту тему, у меня у

самой есть парочка историй, которые она меня умоляла не разглашать. Например, тот вечер, когда помолвку Астры отмечали — она тогда еще обкумарилась до чертиков, ей смутно помнилось, что она пошла с каким-то парнем к нему, еще смутнее — что имели место какие-то несвязные действия, символизирующие половой акт, а потом она просыпается, видит — рядом с ней на подушке эта странная голова, она тогда сразу, ой, мне пора. Вылезает, значит, потихоньку из постели, натягивает одежду, направляется к двери, но дверную ручку найти почему-то не может. Она в непонятках, слегка напрягается по этому поводу, а потом смотрит вниз и видит, ручка, типа, в метре от пола. Удивилась, что такое, оглядывает комнату и только тут замечает, что там *все приделано не выше метра от пола*, выключатели, ручки шкафов и все прочее, и столики такие странные, низенькие; от этого она, конечно, вся на измене, в наносекунду выметается из дома и рвет к метро, в слезах и в шоке.

Короче, Бибуля, зайка, давай так договоримся: хочешь, чтоб я всем про карлика рассказала? Одно слово, блин, если ты хоть одно слово…

Мужик рядом со мной в метро передвинулся всем телом подальше, как можно дальше от меня,

а «Индепендент» свой держит под углом, отгораживается, как барьером. Я его не виню. Пахнет от меня, наверное, отвратно. Господи, я же только что с бомжом трахалась.

Ну как я вообще могу такое вытворять? Что со мной происходит, стоит отвернуться?

Слава богу, на минет у меня сил точно не было.

Хотя на самом деле бога тут славить особо не с чего.

То есть на исповеди это ведь вряд ли сошло бы за покаяние. Трахалась с бродягой, но член у него не сосала, потому что так удолбалась, что рот как следует открыть не могла.

В глубине тоннеля мигает свет, то потухнет, то опять загорится, потом снова гаснет, а поезд тем временем плавно тормозит и останавливается. Мы, похоже, застряли, типа, на веки вечные, соседи-пассажиры начинают ворчать, ерзать, щелкать зубами и всячески выражать нетерпение, а мне хорошо, просто здорово. Это пока самое лучшее из всего, что произошло; пожалуйста, давайте здесь на целый день останемся; только не включайте свет, и пускай там, на стометровой высоте, проходит день в этой суматохе, в шуме, в толчее машин, люди пускай давятся, особенно те, с кем я лично знакома, пускай все идет своим

чередом, ни о чем не подозревая.

По затемненному вагону проходит легкий затхлый ветерок, призрак другого поезда в отдалении, затем слышно, как постукивание колес замирает где-то на расстоянии, а после — тишина, полнейшая, восхитительная.

А потом снова мигает свет, как будто жуткий день начинается по второму разу.

Вернувшись домой, я бегу по коридору, запираю за собой дверь ванной, снимаю с себя все и, нагнувшись, включаю горячую воду на полную мощность — по-моему, если мне что и нужно на самом деле, так это ошпариться, содрать вместе со слоем кожи грязь, гадость, пармезанщину эту, малафью бомжовую. Из ванны поднимается пар, бухнув туда пены, жду, прислонившись к раковине, пока наполнится, взглянув в зеркало, быстро-быстро отвожу глаза в омерзении — затея с зеркалом была очень и очень необдуманным поступком, потом сажусь на унитаз и сижу, обхватив голову руками. К стенке рядом со мной приклеены две «Рыбные палочки с капитанского стола», работа Джамала — он художник, в Сент-Мартинс учится. Они тут уже сто лет висят, оранжевая панировка начинает облезать, а под ней остается какое-то сомнительное серовато-

белое мясо. Только отведя глаза от этой самой непристойности — кстати, единственный декоративный предмет в нашей ванной, причем я была против, говорила, а может, типа, картинку с лодочкой, ракушек там или чего-нибудь такого, — только тогда я замечаю здоровенный отпечаток большого пальца у себя на внутренней стороне бедра. Это не синяк — я не собираюсь заявлять, что во вчерашнем чудовищном совокуплении была задействована сила. Нет, это — отпечаток грязного большого пальца, мазок бромптонской дряни.

Тут до меня доносится странный такой, непонятный звук из ванны: разноголосое тонкое попискивание и изредка негромкие хлопки, как будто шампанское открывают, правда, не особо хорошее. Что еще за хренотень? С этой мыслью я поднимаюсь с унитаза и, разогнав раскаленные клубы пара, обнаруживаю — о господи! — источник шума. Не может быть, ну все, этого мне только не хватало: там из кипятка, из ароматических пузырей высовываются маленькие панцири — это плавают на поверхности Маппины черепашки.

То есть Маппины бывшие черепашки.

Стою в расстройстве, думаю, что же мне де-

лать, потом выключаю горячую воду, включаю холодную, дождавшись, когда ванна немного остынет, вычерпываю из нее дохлых земноводных с помощью одного из Маппиных полотенец и подкладываю ему под дверь такой как бы запеленутый сверток. Может, думаю, еще и записку оставить, да что тут напишешь, ничего не придумывается, кроме: «Маппи извини пожалуйста, а если серьезно то какого хрена твои черепашки делали в ванне», но даже на это сил не хватает, хочется просто принять ванну и хорошенько поспать. Ладно, может, он суп из останков сварит.

Короче, снова набираю воду, ополоснув перед тем ванну, чтоб не осталось никаких черепашьих следов. Отмокаю я, значит, отмокаю, и что поразительно — минут через пять вода вся темно-серая стала. Мерзость жуткая. Остервенело вытираюсь полотенцем, ползу к себе в спальню, сворачиваюсь там под одеялом и плачу пару секунд, тут на меня наваливается сон, и сплю я целую вечность, хотя вообще-то, если быть точной, не так уж давно проснулась.

Следующим вечером мы все сидим в комнате у Симбы в Стокуэлле, у нас с собой четверть коробка шмали и пара бутылок «Столичной», которую Тоби, бог его знает как, удалось раздобыть в Хитроу,

в дьюти-фри, когда мы бедняжку Анну провожали. Простыни, когда я встала часа два назад, слегка отдавали пармезаном — не запах, а так, смутное воспоминание, — так что я их сдернула с кровати и сунула в стиральную машину, да еще бухнула туда двойную дозу кондиционера для ткани, «Доместоса» и «Векты» для мытья окон.

У Симбы новый парень, странный тип по имени Трой, которого все побаиваются из-за его хобби. Мы все спрашиваем, какой он из себя, Сим, а она отвечает, ну, вполне ничего себе, смешной ужасно, очень приличный, но есть у него одно увлечение, эта странная новая методика, я про такую раньше не слышала, называется «непроизвольное движение».

— Э-э, то есть как это, Сим?

— Ну, понимаете, он как бы подергивается изредка, извивается всем телом или там корчится.

Какое-то время мы все это обдумываем, а потом Софи спрашивает:

— Что, типа во время секса?

А Сим:

— Нет-нет… то есть да, но не только в постели. Постоянно: вчера вот, когда мы в «Муджи» за покупками ходили, потом позавчера, когда с матерью вместе обедали в новом армянском

суши-баре, в Кларкенуэлле… в общем, в любое время как бы. Говорит, при этом высвобождается отрицательная энергия, что позволяет телу избавиться от мускульного подчинения, как от смирительной рубашки, потом, создает момент автономии, выводит… как он там говорил… из-под контроля тоталитарных мозговых импульсов. Он мне показывал кирлиан-фотографии, там сравниваются те, кто пользовался методикой, и те, кто нет. И знаете, у тех, кто занимается непроизвольным движением, аура такая ярко-оранжевая, синяя и багровая, прямо светится.

— Ого.

— А, понятно.

— Да, круто.

Говорим мы все.

Позже, когда покончено с огромной горой Симбиного хумуса, оставшейся после вечера у художника, появляется и новый приятель. Мы все с ним доброжелательно так, привет, как жизнь, очень приятно — типа, чувствуй себя как дома. А он на самом деле довольно ничего, внешне чем-то похож на Джуда Ло, если смотреть издалека и прищурившись, первое впечатление производит вполне благоприятное, но потом, спустя минут пятнадцать, вдруг как заорет ни с того ни с сего

и начинает колбаситься об пол, как трекнутый. Все вежливо убирают ноги, чтобы не мешать, покашливают, а сами в непонятках: ничего, если мы между собой поговорим, пока у него тут эти дела, а секунд через двадцать Троя перестает колбасить, он поднимается на ноги, улыбается нам всем и снова садится рядом с Симбой.

— Классно, Сим.

— Ну, ты и подцепила.

Думаем мы все.

Короче, вино льется рекой, все нормально, внимание в основном сосредоточено на прибабахнутом Трое, что меня полностью устраивает, но тут в дверь стучат, и я сразу, ой, потому что стук противный такой, уверенный, с Бибиными интонациями, а я пока еще никому не рассказывала, что трахалась с бомжом. Господи, хоть бы вспомнить, как это произошло. Может, у меня выключатель какой-то внутри щелкает, не знаю. Какой-то выключатель, который должен находиться в опечатанном сейфе, и чтобы реагировал только на кодовую комбинацию из нескольких слов или там на что-нибудь такое, чтобы хоть задумываться приходилось.

В общем, дверь, ясное дело, открывается, входит Биба, а с ней — и Доминик, и Раду, блин; этот меня

тут же замечает и весь расплывается до ушей, прямо дерьмо жрать готов, и говорит, взглянув сперва на Бибу, чтобы дала добро, медленно так, старательно и очень громко: «Здравствуй… Эмили. Как… твои… дела?»

А я говорю, зашибись, ну что тут скажешь, а все глядят на меня, глаза — как летающие тарелки, а меня если вот сейчас снять, на кирлиан-фотографии ни оранжевой, ни синей, ни багровой ауры не будет, вообще никакой ауры, одно пятно коричневой жижи.

Потом выясняется, что Раду поселился у Бибы, она собирается упросить Сола и Дипака дать ему какую-нибудь работу попроще в баре, а вид у нее самодовольный, просто офигеть, великодушный такой, и еще наглости хватает мне подмигивать, причем не то чтобы потихоньку, а Раду между тем неотвратимо оседает рядом со мной на полу.

Он у нас нынче вечером приоделся в розовую рубашку Дома от Джимми Хайдеггера и серые штаны-карго от Маршалла Мак-Луна, а Биба явно помыла его в ванне и надушила, так что теперь вместо хлебных крошек, мочи и пармезана — парфюмерная новинка для парней, кажется, «Плацента» от Жана Лакана. Переварив все это, я думаю, ну ладно, может, *он* и не виноват был

прошлой ночью, я ведь иногда слетаю с катушек, просто напрочь слетаю, и как тут можно обвинять парня, особенно такого, иностранца и без копейки денег, если он этим вроде как воспользовался. По-моему, на Раду неправильно обижаться, злиться тут надо на Бибу и Доминика. Тоже еще, друзья называются.

Короче, как бы там ни было, в чистой одежде или без, больше со мной такого не произойдет. В виде исключения ухожу на этот раз рано, в сравнительно трезвом виде, со всеми прощаюсь, Раду меня одаривает таким печальным, разочарованным взглядом, а Доминик просто ухмыляется, за что и получает пинка, по пути к двери я наддаю ему по голени, якобы нечаянно, и ухожу, а он так и остается со своей ногой, обхватил ее, завывает, ругается, вот дура косолапая, и на сей раз в виде исключения дорога домой в метро — как триумфальное шествие какое-то, вот если бы только не этот груз.

У вас бывает когда-нибудь такое чувство, что на самом деле надо заниматься чем-то другим? Ну, знаете, пошли вы куда-нибудь оттянуться или, может, просто в метро сидите, не важно, а тут этот груз, навалился сзади, засел в голове и давай грузить, но при этом непонятно, на какую

тему вас грузят, а вы пытаетесь вспомнить, типа, чего мне сделать-то надо, точно ведь было что-то, но не можете, что бы там это ни было — не вспоминается оно, только все грузит и грузит. Не бывает? Ну, ладно тогда. В общем, вот такое чувство у меня в метро возникло. И вчера тоже, когда валялась в гостиной, читала «Хит».

А потом еще ночь…

О господи, ночь.

Ночью паршиво. Может, я уже слишком много проспала за последние двадцать четыре часа. Наверно, часов девятнадцать как минимум провела в постели. Может, от этого ночью заново переживаешь день в сжатом до ужаса виде, со всеми его несправедливостями, обидами и грубыми нарушениями приличий.

Постоянно просыпаюсь убедиться, что я одна, шарю по постели в ожидании обнаружить какого-нибудь мудака-бродягу на постое, потом откатываюсь обратно в сон, и мне снятся черепашки, они кричат, Эмили, Эмили, ты что делаешь, ты же нас заживо сваришь, только они не по-английски кричат, а по-румынски, но несмотря на это я как-то их понимаю, каждое слово, а дальше черепашки превращаются в Ника, он посмеивается себе и говорит, эй, ты чего,

я же пошутил, да расслабься ты, Эм, — он так всегда говорил, стоило ему меня расстроить или вывести из себя.

Вечером, когда я вернулась, к двери моей спальни была прибита дохлая черепашка, в записке от Маппи говорилось: «Убить вздумала, сука», что мне вообще-то показалось не по делу — одно слово, перебор. Слишком много он времени на свой аквариум тратит, Маппи этот, ему нормального человеческого взаимодействия не хватает. У него вовсе никакого кирлиан-свечения нет, на что угодно спорю.

Я с ним, когда только въехала, переспала один раз: от одиночества, от чувства потери, незащищенности, уязвимости некуда было деться, хотелось втереться в доверие к новым соседям, и секс представлялся как бы подходящим для этого средством. Вышло еще хуже, чем когда я его черепашек гребаных сварила, точно вам говорю. На полутрахе поймала его за таким занятием: уставился неотрывно на свой аквариум и смотрит, ловит ли хамелеон Роджер мух, которых он только что туда запустил.

Ну да, ясное дело — я, видимо, слишком много с кем спала, и слишком часто не по тому поводу. Вообще-то непонятно, кому с кем сколько раз сле-

дует переспать и зачем, и какие тут могут быть правила. Если считать в глобальном масштабе, скажем, на одном конце шкалы — мать Тереза, а на другом, ну не знаю, Софи, например, то я, пожалуй, гораздо ближе к тому концу, где Софи. И что тут плохого? Я иногда забываю, какой во всем этом смысл, зачем мы вообще этим занимаемся. Ради удовольствия, наверное. Чаще всего ради удовольствия — почувствовать, как чье-то сердце бьется рядом с твоим. Чаще всего. Ну, и кроме того, дело еще вот в чем: среди нас, тусовщиков, возникает такой странный, приобретательский, что ли, инстинкт. Ужасно, правда ведь? Смех в том, что хуже всего в смысле секса было с Ником. Какая-то неуверенная возня, от этих дел нам обоим делалось и противно, и стыдно. А потом он меня бросил. Может, потому и бросил, хотя сам говорил, неизвестно, куда это все приведет, а после я слышала от Софи, что он якобы хотел «путешествовать». Куда путешествовать? Зачем? Я бы поехала с ним путешествовать, раз ему так хотелось. Честно говоря, меня никакие особые эмоции с Балэмом не связывают. Все дело в том, что за три месяца он дальше Вондсворта[25] так

[25] Примечания: 25
Балэм, Вондсворт — районы на юге Лондона.

и не уехал.

Ох, поспать бы, ну пожалуйста.

Встаю попить воды, ковыляю по лестнице мимо неудачных инсталляций Джамала, мимо здоровенного ящика, где Маппи держит свою Джессику, кобру тайскую плюющуюся. В ящике тихо: змея либо спит, либо опять выбралась наружу. Бывает, откроешь шкафчик в кухне и как завопишь: там эти пакетики с бобами мунг, вегетарианским сычугом и тофу, а среди них виднеется эта злобная черная голова, ярко-красный язык так и мелькает туда-сюда, тупые глаза — как обсидиановые бусинки на вид, и взирают на тебя с ползучей ненавистью. Хорошо хоть мы заставили Маппи удалить ей ядовитые железы. Джессика — тайская плюющаяся кобра, которой нечем плеваться, не кобра, а какая-то полная бессмыслица.

Налив себе воды, плетусь обратно в постель, отхлебываю пару глотков, ложусь и обращаюсь к черепашкам с мольбой оставить меня в покое. Что они и делают. В следующий раз вместо них мне снятся Аннины ноги.

2

Новости из США, если уж вам интересно, довольно плохие.

Анна лежит в огромном институте в городе, который называется Батон-Руж, они там пытаются выяснить, что с ней не так и можно ли этот процесс как-нибудь повернуть вспять. Последние сведения такие: они считают, что болезнь вызвана искусственным загаром в сочетании с высокоэффективным гелем-депилятором, которым она пользовалась; вероятно, там произошла какая-то страшная химическая реакция. Но до конца они не уверены и хотят ее еще подержать у себя на обследовании.

Тоби уже подумывает о том, чтобы судиться с фирмой-производителем солярия, а заодно и геля, но врачи говорят, у них, к сожалению, пока нет ничего хоть сколько-нибудь состоятельного, все это, если честно, дело довольно темное, так что придется ей там пролежать неизвестно сколько.

Тоби говорит, она хочет, чтобы мы все приехали ее навестить. Мне бы на ее месте этого хотелось меньше всего, если бы мои ноги почернели и стали твердыми и блестящими, как у жука, но что тут поделаешь. Еще один друг Анны, довольно

противный тип, Мик, коммунист, зацикленный на собственной персоне, ездил туда ее проведать и говорит, что вид у нее не очень, но, кажется, ей там не так уж плохо, хотя врачам он не доверяет. Все это нам рассказал Тоби и добавил, особо не волнуйтесь, Мик просто ненавидит американцев как таковых, так что его оценку ситуации нельзя принимать за чистую монету.

Ну, в общем, похоже, мы все туда поедем, если сумеем денег раздобыть, может, остановимся на пару дней в Нью-Йорке — у Астры, двоюродной сестры Симбы, там чердак или типа того.

Все наши теперь очень сильно напряглись по поводу средств личной гигиены, а вдруг и с ними произойдет то же, что с Анной. У Софи неожиданно впервые появились волосы на ногах. А Биба тут где-то прочла, что от дезодорантов бывает рак и всей дезодорантной промышленностью заправляют трое евреев, к тому же они, типа, держат в своих руках мировые запасы оружия, ракет и прочего, а также «Kentucky Fried Chicken». И к тому же «Kentucky Fried Chicken» — на самом деле вовсе никакие не куры, они и на ящиках не пишут «куры», и на ресторанных вывесках, чтоб не загреметь под акт о надлежащей упаковке и маркировке товара, ведь они на самом деле что

продают — никакие это не куры, а безобразные существа-мутанты, слепые, без ног, без клювов, и держат их в огромных чанах в полной темноте. Эти трое евреев все прекрасно знают, но явно не парятся, а может, даже рады, потому что нас не любят, и все это — часть какого-то глобального плана, а что они с Палестиной делают, евреи эти, вы только посмотрите, это же просто позорище.

Тут встряла Софи: э, нет, здесь якобы все дело в поташе, по словам ее знакомого с Нью-кросс-роуд, американцы преднамеренно его везде распыляют, вот от него и бывает рак, хотя, может, и три загадочных еврея к этому имеют какое-то отношение.

Честно говоря, я просто не знаю, кому верить. Как-то это все притянуто за уши. Я, например, лично знакома с несколькими евреями, и они, на мой взгляд, как будто бы ничего, разве что многовато о себе понимают и занудные. А одна моя подруга, Табита, работает в этой, как ее, картинной галерее, у владельцев-евреев, так вот она говорит, что они очень вежливые и вроде бы по отношению к нам не особо враждебно настроены, плюс дают пять недель отпуска в году и к ее занятиям по кикбоксингу по пятницам после обеда нормально относятся. Так что, кто знает? Может,

три загадочных еврея несут ответственность и за мое поведение в тех случаях, когда я как бы вырубаюсь и начинаю делать всякие мерзопакости в полный рост.

В общем, теперь они хоть название для этого дела придумали, для Аннинoй болезни.

Метастатический кератоз.

Вот гадость, а?

Но бедняжка Анна хотя бы вот *этого* не видит:

Очередной вечер, все та же компания: Дом, Радж, Биба, Трой, Ади, Симба, Раду, Софи, Табита, Дипак, Баунти, Мик, плюс еще несколько человек, Доминик с ними в прошлом году в отпуске познакомился, в Гваделупе. Дювальер — худой, остроконечный, с коком на голове в стиле recherché[26] и все старается полапать Софи, которая изображает из себя такую крутую недотрогу-недавалку, типа, она выше всего этого. Твикс и Корниш — красотки из самого высшего света, одну из них Доминик явно имел в не столь отдаленном прошлом, нет, не знаю, кто из них кто.

Мы собрались в «Овцераме», это такая полугалерея, полуклуб рядом с Вондсворт-роуд, открыл

---

[26] Примечания: 26

Recherché — изысканный, утонченный, вычурный *(фр.).*

это заведение Сол, он с нервным видом околачивается возле стойки бара (или, как его здесь называют, «Бе-е-е-ра»).

Овцы — настоящие, живые овцы — недовольно слоняются по танцполу, покрытому искусственной травой, такая обычно в старых овощных лавках бывает.

Идея и вправду хреновая.

Дипак уговорил нас прийти, типа, на открытие, пообещав кучу навороченных ребят, классной музыки, кокса и сколько угодно спиртного, что и решило дело. Но еще только полдвенадцатого, а я уже жалею, что не пошла в «Резиновый клит» или «Адукин», там как-то привычнее тусоваться в этот день недели.

Типа овцы, значит? Да ладно, ну с какой вообще стати-то?

Дипак говорит, нам по идее следует взаимодействовать с овцами, что, на мой взгляд, было бы нечестно по отношению к животным: у них и так вид травмированный, того и гляди, в суд подадут.

Короче, план не сработал. Никакого взаимодействия вообще не получилось. Все люди скучковались у бара, а овцы тем временем сгрудились на танцполу и проявляют первичные

признаки тиннитуса, известного также как шум в ушах. Может, кому-то нужно просто подойти, сделать первый шаг, ну, я не знаю.

Это якобы мериносы, очень дорогие.

«Звать меня Эрном, я буду верным», грохочет из колонок, во всей песне одна-единственная строчка вокала, все остальное — беспощадное буханье ударных и баса, оно мне порядком действует на нервы, да и овцам, видать, тоже, этот нескончаемый долбеж с тупым рефреном, буквально на одной ноте тянется: «Звать меня Эрном, я буду верным». Эрном, значит? Да нам-то что? И что это еще за фигня про верность? Лишь бы в рифму. Все лето ее играют по клубам, эту песню, я ее просто ненавижу, вот бы выяснить как-нибудь, кто эти правонарушители, и нанести им тяжкие телесные повреждения.

Значит, стою я у стойки бе-е-е-ра, попиваю «Скользкую мартышку» и «Влажную торпеду», ничего коктейли, музыка ломится в башку, все окружающее, кажется, в сговоре против меня, настроение все хуже и хуже, в общем, понятно, а впереди еще часа четыре, ох-хо-хо, тут чувствую, что-то о задницу трется, поворачиваюсь в ожидании увидеть какую-нибудь дурацкую овцу, но это не овца, это всего лишь левая рука Раду. Окинул

меня долгим взглядом, такой румын в Лондоне, а потом смотрит, там, в другом углу зала, лампочки мигают и агрессивные недовольные животные на танцполу, и орет мне в ухо: «Эмили, прошу… кто такой Эрн?»

Я говорю: без понятия, Раду, мне-то откуда знать, а сама как бы игнорирую его, даже покачиваюсь в такт музыке — похоже, слегка окосела от «Мартышки», такое чувство, как будто сто лет прошло, но оборачиваюсь — Раду все еще тут, трясет головой.

«А почему овцы?»

На это я просто пожимаю плечами и качаю головой, не могу я ему объяснить про британскую культуру во всех ее проявлениях, есть вещи, которые не объяснишь, и вообще с недавних пор это все уже конкретно достает, эти непрерывные расспросы, типа, почему на эскалаторе нельзя стоять слева, и этот самый, Оксфорд-*цирк,* а где же тогда клоуны, Эмили, прошу?

Но он все равно не уходит — наверно, никак не въедет в еще один момент британской культуры, а именно, что делают девушки, когда им хочется, чтоб от них отвалили, оставили их в покое, наверно, в Румынии с этим все куда яснее, а может, в Румынии девушки никогда не просят мужиков

отвалить, не знаю.

В общем, он все еще здесь, прямо рядом со мной, у стойки бе-е-е-ра, я вижу, как Троя колбасит на полу возле двери, ведущей в комнату оттяга, Софи танцует бок о бок с Дювальером, овец по всему танцполу разогнали, а вся остальная тусовка тоже за этим наблюдает, и тут Раду берет меня за руку, притирается еще ближе и говорит уже не так громко: «Эмили, твой друг, Ник. Я не думаю, что он вернется».

Что похоже на правду. На днях возвращаюсь от Симбы, я ей тут помогала готовить очередную здоровенную партию гуакамоле, а на моем автоответчике мигает красная лампочка, и лампочка эта как раз и оказалась Ником. Ему пододеяльник его нужен. Уже почти год прошел. Никаких тебе привет, Эмили, как жизнь, что происходит, надеюсь, все в порядке и т. д., типа, я по тебе так скучал, можно я заскочу забрать свой пододеяльник от Кензо? Короче, прослушала я это сообщение, перемотала назад и снова прослушала, и сразу такое чувство возникло, как будто у меня колит начался от звука его голоса, и тут входит Раду, выдернул автоответчик из розетки и швырнул его через всю комнату таким жестом темпераментного европейца, означающим недо-

вольство, а я ему, пардон? Он смотрит на меня, показывает на автоответчик, теперь уже расчлененный, и говорит: «Я думал, он есть сволочь?»

А я говорю, «он сволочь», Раду, а не «он есть». И добавляю, ну да, правильно, ну и что?

Но он прав: парень ушел с концами.

К часу мне уже *так* надоело в «Овцераме», что я незаметно сваливаю в туалет, где намереваюсь слегка оттянуться без посторонних, может, даже поспать часок-другой, но, добравшись, вижу, что это невозможно, поскольку туда битком набились столь же недовольные овцы. Стоят себе небольшими унылыми группками и переблеиваются друг с другом. Я уже подумываю, что надо бы выбраться потихоньку наружу, схватить такси и отправиться домой, ну, в общем, просто отползти с малыми потерями, как вдруг замечаю, что одна овца в дальнем углу туалета ведет себя странно. Встала на задние ноги и раскатывает дорожку кокса на металлической полке. Наблюдаю, не в силах оторваться: вот она наклоняется к поверхности и своей гигантской ноздрей втягивает в себя как минимум грамм, а потом поднимает свою тупую бесформенную башку и как чихнет пару раз, типа, по-овечьи: расширенные глаза открыты, зрачки вздернуты кверху, словно на

шарнирах. Явно продолжаю глазеть, что некрасиво, и тут происходит вот что: это создание ловит мой взгляд, жутковато лыбится нездешней овечьей ухмылкой и говорит, ну че, подруга, хошь, дорожку вместе раскатаем? На этом я раз — и выметаюсь оттуда, беру и выметаюсь.

Клянусь вам, так оно и было; прикол в том, что все остальные либо не заметили, либо не придали значения.

Плюс еще там две овцы трахались в кабинке, даже дверь закрыть не потрудились.

Карабкаюсь вверх по лестнице, прохожу мимо вышибалы наружу и стою под желтым фонарем, вдох-выдох, вдох-выдох, смотрю на улицу в поисках такси, размышляю, есть ли тут поблизости мини-кэбы, или же мне просто пешком пойти. В дверях «Овцерамы» появляется Сол, спасибо, говорит, Эм, что пришла, ну и как тебе, а я ему отвечаю, ага, классно, удачи тебе, овцы и вправду в корне меняют дело, слушай, ты мне такси не вызовешь, а он улыбается, вызывает по своему телефону кэб, пять минут, говорит, и тут я внезапно вспоминаю: ах да, говорю, и скажи там, если Раду домой собирается, я уже ухожу, и Сол снова исчезает внутри своей последней, безумной и обреченной творческой авантюры.

Короче, как вы уже, наверно, поняли, я теперь как бы подруга Раду, и это, в общем, по-моему, не так уж плохо. Точно вам говорю: он изменился с тех пор, как вы с ним познакомились. Побрит, помыт и побрызган дезодорантом, вот он какой стал, такой, знаете, представительный, основная фишка — курчавые черные волосы, типа, такие непокорные, плюс карамельного цвета кожа и бледно-голубые глаза. Дом ему пару недель назад сказал: Раду, в тебе есть что-то такое, ну не знаю, цыганское, что ли, после чего Раду встал и довольно сильно дал ему в зубы — это очень некрасиво, придется над этим поработать, но ведь и Доминик себя некрасиво повел, он явно незнаком с общественно-демографической ситуацией в Румынии, о которой я постепенно узнаю много нового.

Короче, я не вполне понимаю, во что выльются наши отношения, вроде как вляпалась в очередной раз не по собственной, в общем-то, воле, меня беспокоит, что у Раду бывают эти резкие перепады настроения, хотя все это, видимо, связано с тем, что с ним произошло у него на родине, из-за чего он уехал, но все равно, по масштабам Балэма симптомы, скажем прямо, тревожные.

В общем так: он якобы работал врачом в боль-

нице и был выдающейся фигурой в оппозиции, она у них там нелегальная или типа того. В один прекрасный день к нему приходят из секретной службы, начинают его избивать до полусмерти, проделывать разные штуки с электродами, мокрыми полотенцами и немецкими овчарками, все это он мне со слезами описал в подробностях, не могу, ну не могу я сейчас об этом — я на такие вещи реагирую, как на бедняжку Анну с ее ногами. Все это он мне рассказал как-то вечером, когда ошивался у меня, поскольку у Бибы гостил друг, парень по имени Йохум, такой из себя красавчик, бабла куча, блудный сын одного немецкого автогонщика, короче, она не хотела, чтоб Раду там крутился, плюс подозревала, что может понадобиться спальня для гостей, никогда ведь не знаешь наверняка; а Раду просто начал рассказывать мне про себя на своем жалком, запинающемся английском (сейчас, кстати, он у него гораздо лучше стал), а сам плачет, мы сидим вдвоем на полу у меня в комнате под громадной инсталляцией Джамала, где использованы замороженные хрустящие блинчики «Финдус» с курятиной, беконом и кукурузой, а я просто слушаю, качаю головой, плачу и говорю, как же так можно с людьми поступать, не понимаю, от чего

он заплакал еще сильнее. Я тогда обхватила его руками и так и держу, бог знает сколько времени, просто держу, прижав к себе, покачивая, ну не знаю, как шестимесячного какого-нибудь, и это было приятно, по крайней мере мне. Слушать про то, как он бежал от полиции, было просто страшно, как он все эти границы пересекал, без денег, без документов и т. д., почти как я, когда ездила в Краби[27] в том году, а спал он на улицах — в Дубровнике, Триесте, Марселе, Париже, а потом вот в Лондоне, толком не зная, что делать, и еще в шоке, наверное, от этих дел с мокрыми полотенцами, электродами и немецкими овчарками.

Ну, под конец сидим мы, я его устало поглаживаю по волосам, рыдания вроде как кончились, все так тихо, спокойно, и тут из-под софы выкатывается Джессика, Раду как завопит, выскочил из комнаты, как ненормальный, а я за ним, нет-нет, говорю, не волнуйся, Маппи ей удалил ядовитые железы, все нормально, а потом я разрешила ему завалиться у меня в комнате, и он даже не прикоснулся ко мне, просто закрыл глаза и крепко заснул, может, боялся, что кобра вернется, если он пошевелится, или что-то типа того, не знаю.

---

[27] Примечания: 27
Краби — курорт в Таиланде.

На другой день я сказала Раду, что ему нужно подать на вид на жительство, ну, чтобы, типа, легально жить в стране, ведь дело его беспроигрышное, как мне кажется, но он волнуется: а вдруг, если признаться во всем властям, секретные службы смогут на него выйти; неудивительно, что он их так боится, еще бы, особенно в связи с овчарками.

Что вообще происходит в наше время с животными? Что на них такое нашло? Куда ни глянь, везде они, занимаются вещами, которыми им заниматься не положено. Ну знаете, везде какие-то создания, ведущие себя странно и не по-животному. Змеи, овцы, собаки, черепашки. Может, они постепенно адаптируются, типа, к нашему образу жизни привыкают, может, мы сливаемся воедино, мы и животные? Пойди пойми.

Короче, все это случилось примерно месяц назад, и я вроде решила, что разрешу ему какое-то время потусоваться у меня, потому что Йохум переехал к Бибе в свободную комнату и, похоже, играет с ней в какие-то долгосрочные игры, а для меня это, в общем-то, не такой уж напряг, если Раду тут поживет, а свободной комнаты у меня нет, так что приходится ему спать со мной.

Если подумать, он вроде как идеальный бой-

френд: и заботливый, и благодарен до слез, когда я с ним сплю; я считаю, это ценные качества в мужике. Плюс к тому, по части секса он — сама прямота, ему немного нужно, типа, потрахался и хватит, я с ним спала раз двадцать, и он ни разу не попытался засунуть мне палец в задницу или привязать меня к батарее, как большинство мужиков.

Так что посмотрим, что из этого выйдет.

Кстати, мы собираемся устроить нечто вроде вечеринки в его честь в следующую пятницу у Бибы, отчего он ходит весь гордый, речь готовит. А произошло вот что. Разговорный английский у Раду все лучше и лучше, хотя мне еще приходится его поправлять, даже такие простые вещи, как артикли, времена и все такое, но прогресс идет ну очень быстро. И вот пару дней назад заскочили Трой с Дипаком, когда меня дома не было, сидят у меня в комнате, и Раду тоже там, а Дипак говорит, типа, в шутку, давай, Раду, поставь чайник, сделай нам чайку, дружище, а Раду развел руками и говорит: «Типа, что за дела?»

Дипак лопается со смеху, а Трой говорит: «Невероятно!», а после рассказывает мне, как было дело, так что мы решаем устроить вечер «Типа, что за дела?», отметить окончательное вступ-

ление Раду в тусовку. Наконец-то румынский парень грамматику осилил.

3

В общем, раз в год я езжу к матери — это дело такое, что без большого количества спиртного и наркотиков класса «А» как бы и не обойтись. Беру с собой Раду, раз все равно суббота и делать ему нечего, кроме как скрываться от воображаемых сотрудников секретной службы и постоянно жаловаться на холод. Плюс к тому, думаю, может, маме он понравится, покажется интереснее, чем большинство моих прежних знакомых ребят, все-таки жизнь у него была такая, овчарки там и все дела.

Часов где-то в восемь утра мы на вокзале Ватерлоо, день ясный, солнечный, берем кофе в «Косте», неплохой, поезд ждет с важным видом на четырнадцатой платформе, набитый народом, все едут с детьми на запад, в деревню на выходные, тащат с собой всякие закуски и мерзкие безалкогольные напитки, и комиксы, и все такое, а у меня настроение довольно хорошее, думаю, может, хоть на этот раз от встречи с мамой у меня не начнется тяга к само- или матереубийству. Хотя, если честно, на это я особо не рассчитываю.

Сидим в купе для курящих за столиком, друг напротив друга, Раду украдкой поглядывает вокруг на случай, если люди из секретной службы тоже решили отдохнуть и направились на денек в Девон, типа, прошвырнуться. Хоть он и прилично одет, народ на нас смотрит все равно странно, может, из-за того, что он меня немного постарше и с лица у него не сходит подозрительное выражение, а может, дело в его волосах, которые самую малость длинноваты, нет, честно, как шерсть у зверя в мультике, а я ему говорю, вот поэтому люди и глазеют, они считают, что ему не помешает хорошая стрижка и, может, немного мусса для укладки, вот и все, и уж точно никто не собирается вытворять над ним эти штуки с электродами, мокрыми полотенцами и собаками.

Но он все куксится, сползает пониже на сиденье, зарывается в газету или отворачивает голову к окну, глядит, как мимо проносится Суррей, кусты да пригороды так и мелькают.

К Бейзингстоку он немного отошел, а когда после Андовера в поле зрения появились мягкие зеленые равнины и пригорки Уилтшира, прямотаки разоткровенничался, заговорил о сельской местности в его любимой Румынии, которой ему с каждым днем все больше не хватает, пустился

в рассуждения, сможет ли он туда когда-нибудь вернуться. Правда, когда я спрашиваю про его семью там, на родине, он замыкается в себе, у него появляется выражение невыносимой грусти — в этом он, честно говоря, не сильно отличается от моих бывших парней.

Потом мы стоим рядом с вокзалом в Солсбери, ждем автобуса, я и Раду, в очереди вместе с трещащими американскими туристами и странноватыми японцами, подходит красный двухэтажный автобус, мы все влезаем, пока все идет отлично. Раду обнимает меня за плечи, мы выбираемся из города, движемся вперед и вверх, к равнине, он теперь уже в хорошем настроении, Эмили, говорит, твоя мама — хороший человек, да?

На этот счет у меня имеются кое-какие сомнения. Думаю, перевариваю это какое-то время, потом говорю, ну, я как-то не задумывалась на эту тему, нет, на самом деле «хороший», если честно — не то слово, не первое, что приходит мне в голову при мысли о матери. «Плохой», наверно, ближе к истине. Или, может, «невыносимый до чертиков».

Тут у него вид делается озадаченный, Эмили, говорит, ты ведь любишь свою маму, да? А я

такая, э-э, ну-ка, давай еще раз и поподробнее, в результате он заводит длинную, возвышенную проповедь на тему о том, какая это святая вещь — любить и почитать мать свою, что бы там ни было, и что это особенная связь, которую никогда не разорвать, она даже важнее, чем та особенная любовь, какую испытываешь к родине (*что-что?),* она превосходит собой все, тут он останавливается, потому что я похлопываю его по плечу и показываю из окна на поле в каких-нибудь нескольких сотнях ярдов от гигантских вертикально стоящих камней, а там, вон он, слева, ярко-синий, с луной и звездами на боку, на верхушке трепыхается треугольный конопляный флаг, вот, посмотри… это — вигвам моей мамы.

Увидев *такое,* он на пару минут заткнулся.

— Она тут в отпуске, да?

Не-а, не угадал, Раду. То есть да, пожалуй, что в отпуске, какие новости и т. д., только она как бы вот здесь и живет. Постоянно.

Он ненадолго замолкает, пока мы вылезаем из автобуса, потом его лицо искажает гримаса отвращения.

— Она есть *цыганка?*

Я смеюсь, это его раздражает. Нет, говорю я, не цыганка она, нет. Если б она была цыганка, у нее

по крайней мере было бы достойное оправдание для такого смехотворного образа жизни.

Он довольно неожиданно плюет длинной струей мокроты на поросшую травой обочину. Я, знаете, не фанат плевков. В общем и целом я человек без особых напрягов — иногда, можно сказать, даже чересчур, — но когда плюются, как-то противно — просто *не катит.*

С лица Раду, однако, не сходит жуткая перекошенная гримаса.

— Цыганка, блин, это есть *подонок. Подонок,* Эмили. У нас есть много цыганы в Румынии. Это есть вор, весь вор. Шлюха и вор.

Затем, чтобы прояснить ситуацию, добавляет:

— Женщины есть шлюха; мужчины есть вор.

А после:

— Они не моются, цыганы. Никогда не моются.

О'кей, о'кей, румынский паренек, не заводись. Никакая она, на хрен, не цыганка, говорю я, можешь мне поверить. Она даже крючок для одежды не сможет, блин, выточить под угрозой смерти. Значит, так, Раду, послушай-ка, говорю я строго, хватит на меня так смотреть, и больше никогда при мне чтоб не плевался, договорились? Моя мать — то, что в Англии называется… «хиппи». О'кей?

— Хиппи?

— Ага, хиппи. Они тоже часто есть шлюха, вор. Они, Рад, тоже есть никогда не моются.

Как ни странно, он улыбается.

— А-а-а, хиппи! Как группа «Гретфул Дед», да?

Ага, говорю я, конечно; как группа «Grateful Dead», один к одному.

Мы перелезаем через низкую деревянную изгородь и тащимся через поле; вокруг — выброшенные мусорные мешки, использованная туалетная бумага, разбитые радиоприемники и CD-плейеры, автохлам, пустые коробки из-под готовой еды, изведенные упаковки от синтетического красителя вайды, пакеты из-под бобов и чечевицы, примитивная канализация и грязные, визжащие дети.

На Раду футболка со звездами и полосами поперек груди, тоже обноски с Домова плеча, а тут подбегает вонючий маленький оборвыш и пищит сердито: «Америка, руки прочь от Чили!», после чего исчезает в кустах.

Ну, Раду сразу, в чем дело? Я только головой мотаю, не зная, как реагировать, и мы идем дальше. Из первой палатки слышны звуки яростного спора, вторая — вся дырявая и кажется совершенно необитаемой, а третья — палатка моей матери. С

другой стороны поля доносятся звуки этой уродской песни, «Звать меня Эрном, я буду верным», правда, на таком расстоянии ничего не слышно, один бас-барабан, но я ее все равно узнала, мы подходим к откидному пологу палатки, но тут выходит какой-то мужик и нас останавливает.

На нем такая бесформенная кацавейка, сшитая из того, чем обычно трубы прокладывают. Лет ему где-то, наверное, сорок, очень высокий, с нечесаной русой бородой и затуманенными голубыми глазами, на нас глядит заторможенным, пустым взглядом, по идее выражающим подозрение.

— Здравствуйте, люди добрые, — говорит он, — что хорошего скажете?

От звука его голоса, протяжного и гундосого, как из пустоты, меня внутренне будто перекашивает. Я думаю, а что, если его просто треснуть, тут он начинает рассматривать нас с ног до головы, я через силу улыбаюсь и говорю, мы к моей маме пришли, это же ее палатка, так?

А он расплывается в огромной улыбке и говорит, ого, вау, ты дочка Карен, клево, конечно, это ее палатка. Только она как бы занята.

А я ему, типа, как-как? Еще раз, и погромче. Занята?

Дело вот в чем: если она чем-то занята, это

впору отпраздновать. Последний раз она была занята в 1976-м, когда ужин готовила. До сих пор помню удивление на лицах у всех, а потом, чуть позже — запах, дым, сирены, мигалки. Не вечер был, а черт знает что, правда.

Но я не теряю спокойствия и говорю мужику, слушай, ты ей просто скажи, что мы пришли, о'кей? Он улыбается и исчезает внутри, слышен приглушенный разговор, потом он снова появляется все с той же дебильной улыбкой и говорит, ладно, через десять минут можете войти.

От этого мне просто смешно делается, я говорю, слушай, мы к моей матери пришли, так что либо мы заходим, либо уходим еще на год, что, если честно, может, не такой уж и плохой вариант, а он пожимает плечами, по-прежнему стоя у входа в палатку. В конце концов я его без церемоний убираю с дороги со словами: извини, хипан, но нам *сюда.*

Отодвигаю, значит, полог идиотской палатки и осторожно захожу, за мной Раду, а бородатое насекомое, хипан этот (он-то вообще кто тут такой?) беспомощно, как у них принято, стоит снаружи. Какое-то время глаза привыкают к мускусному сумраку, я ковыляю вперед, вдыхаю густой сладкий запах, типа ванильного, пропитываюсь тяже-

лым теплым духом. Часть палатки, где устроено большое лежбище на двоих, закидана тяжелыми пестрыми одеялами, на стене висит такое панно с рисунком, напоминающим звездно-лунный орнамент снаружи, дальше лежанка поменьше с ярко-красными одеялами и желтой подушкой, на которой выткана голова какой-то хиппи. В основном это барахло тут было и в прошлый мой приезд, но в густо прокуренном, удушливом сумраке мне удается разглядеть бледно-желтые свечи, расставленные вокруг комнаты, по концам серебристой звезды, нарисованной на синем брезентовом полу. Это что-то новенькое, мам. Прелесть. Свечи воняют, да и вообще, по-моему, это довольно небезопасно, но не мне же здесь жить, черт побери.

Мать сидит у дальней стены палатки на другой куче одеял, голова откинута назад в этой ее манере, которую я помню с детства и которая меня слегка раздражает. В одной руке у нее здоровенный косяк, у правого колена — бутыль какого-то мерзкого на вид домашнего снадобья, по моим понятиям, почти наверняка алкогольного. Секунду-другую она не выходит из этого якобы транса, мы стоим посередине палатки, смотрим на нее, Раду, по-моему, не вполне верит в происходящее,

думает, ну, это его, типа, нарочно разыгрывают, вот-вот откуда-нибудь выскочит кучка заводил с хохотом и криками, привет, румынский паренек.

Короче, в конце концов она поднимает глаза, улыбается с коровьим спокойствием и говорит: Эмили, дорогая, как здорово, иди сюда, иди садись, и тут мы вдруг начинаем обниматься прямо посреди палатки. От нее пахнет пачулевым маслом, разнообразными — даже слишком — овощными рагу, а где-то подо всем этим я различаю запах мамы.

— Дорогая моя, извини, что я предложила на улице подождать, — говорит она. — Я тут Пана вызвать пыталась.

И она эдаким величественным жестом указывает на пятиконечную звезду на полу.

— Ой, мам, да иди ты знаешь куда, — с этими словами я оглядываюсь по сторонам, качая головой. — Ну и что он, пришел? Или прячется?

— Ты меня застала как раз в самый разгар, — говорит она. — Это, Эмили, непростая операция. Давай садись, познакомь меня со своим новым другом.

Тут я притягиваю Раду к себе, хоть он и смотрит с опаской, того и гляди, отпрыгнет, как иногда

с ним бывает, когда его что-то беспокоит, но я говорю, все нормально, это Раду, тут мама обнимает его, как родного, здравствуй, Раду, а сама вроде как подмигивает мне, от чего меня слегка перекашивает, но это ничего, по крайней мере у Раду появляется какое-то подобие улыбки.

Мы присаживаемся на одеяла, мама передает по кругу косяк, мы оба вежливо затягиваемся сладким дымком — картина, как в каком-нибудь старом вестерне, встреча белых с индейцами, в общем, смех один, как всегда, блин.

Я, значит, начинаю ей рассказывать про свои дела, на что, как вы уже могли бы догадаться, много времени не требуется, кратко ввожу в курс событий, связанных с моими друзьями, которых она знает или, по крайней мере, встречала, вроде Дома, Бибы и бедняжки Анны с ее ногами. Она вся кипит по поводу того, что произошло с Анной, говорит, мы, женщины, ежедневно травим себя, к чему бы мы ни прикоснулись, везде какая-нибудь отрава, вот у нее такое чувство, что она правильно сделала, что оставила этот мир позади, хоть многим и невдомек, но все это — дело рук таинственной еврейской троицы, а потом Раду рассказывает ей свою историю, или что-то вроде отредактированной сжатой версии,

куда он включил полотенца и овчарок, но про электроды почему-то забыл, и это выступление, как нетрудно себе представить, становится настоящим гвоздем программы.

Мама изображает полное сопереживание в стиле хиппи, и плачет с ним за компанию, и за руку его держит, склоняясь над брезентом, пока он изливает безумную историю своей жизни, причем ясно, что она ни малейшего понятия не имеет, где находится Румыния, вообще ничего о ней не знает, только говорит что-то типа господи, какой ужас, или да как же так, или просто ах ты мой дорогой, время от времени постреливая в мою сторону взглядом, полным невообразимого сочувствия, а я просто сижу, пропитываюсь травкой и ванильным душком и в сотый раз слушаю рассказ Раду.

Потом, когда Раду все выложил, она перестает изображать из себя хиппи и становится ненадолго моей матерью, говорит, ну что, Эмили, ты действительно счастлива, а мне хочется сказать, да нет, пойди пойми, что такое счастье, да и что, собственно, ты тут можешь поделать? Но вместо этого я лишь улыбаюсь, говорю, да, знаешь, все у меня хорошо, а папу ты давно не видела, а она говорит, давно, но получила письмо с чеком,

где он подписался полностью, фамилию свою поставил, как будто пишет конкурентам, или адвокату, или в налоговую, мама только плечами пожала, ну, ты же знаешь, что это за человек, мажор, одно слово.

Нет, серьезно, прямо так и сказала. Меня снова внутренне перекашивает.

Когда она нас бросила, мне тогда было двенадцать лет, казалось, что это произошло на пустом месте. Вообще-то наша семейная жизнь счастливой до умопомрачения никогда не была, ничего подобного, хотя денег у нас хватало благодаря папе, что было в общем-то кстати. На самом деле просто жили себе в достатке, спокойно и скучно. Тут это и случилось. Вроде только что эти двое, мама с папой то есть, были как всегда, друг с другом особо не разговаривают, папа постоянно сидит в своем непонятном арабском банке, только работает да спит, а чем там его жена занимается, это ему пофигу, а у мамы ни ума, ни фантазии, целые дни проводит на занятиях по живописи и бог знает с кем тусуется.

Потом вдруг она собрала чемодан, заявила, что задыхается, что не создана для такой жизни, не жизнь, а какое-то существование и т. д., в общем, как ей ни жаль, но она уезжает и будет

жить в *фургоне* с человеком по имени *Кестрель*. Подошла ко мне в прихожей у нас дома, а я, облокотившись на перила, стою тереблю волосы и вижу, в углу прихожей, где лестница в пол переходит, отодрался кусок обоев, такой абстрактный узор по вертикали, немного на цветок похоже, но не совсем, он окончательно отклеился, кусочек этот, я смотрю на обои, а на маму как бы даже и не смотрю, а мама говорит, чмок-чмок, ах ты моя дорогая, скоро увидимся, приезжай со мной пожить за папой присматривай извини что так, и вот тут — этот момент я очень хорошо помню — она мне сказала: «Ну, счастливо, дорогая моя, и смотри не повторяй моих ошибок».

С тем и ушла.

Какие она ошибки имела в виду? Что ушла или что не ушла раньше?

Короче, в конце концов они мне так все это дело преподнесли, мол, мне же лучше, в каникулы буду разъезжать с мамой и Кестрелем (он, типа, скульптор), классно так, а все остальное время, когда уроки в школе, буду жить дома с папой, а мама нас, может, будет навещать.

Но получилось все… в общем, по-другому все получилось.

Для начала Кестрель бросил маму к концу

первой недели, она как бы ушла в самоволку на два года, потом выяснилось: связалась со странствующим народом, так называемыми «детьми Стивена». Без понятия, кто такой Стивен. Мудак, видимо, полный.

Тем временем папе все скучнее становилось за мной присматривать, временами на него находило отчаяние, так что к концу второй недели я очутилась у бабушки, в ее домишке в Даличе, где и провела следующие шесть лет.

Оглядываясь назад, все, что я помню про день, когда мама уехала, это фишку с обоями и то, как мама про свои ошибки сказала, а еще по телевизору эта фигня началась, война с Аргентиной, конфликт насчет Фолклендских островов или, как мама их называла, Мальвинских. Помню, каждый день после ее отъезда я смотрела телек, словно зачарованная, корабли и пушки, и общее чувство возбуждения, и флаги, а с тех пор я, по-моему, новости не смотрела ни разу.

Мы победили, да?

У бабушки мне, наверно, лучше было. Она не переносит маму, да и папу тоже, никогда их не переносила, хотя мама, в общем, дочь ей все-таки, но она ее все время называла дурой бестолковой, вот это верно, пожалуй. По-моему, даже папа в

конце концов после маминого отъезда вздохнул свободно, хотя его и смущало, что это произошло с мужиком по имени Кестрель.

А уж когда я переехала, он точно вздохнул свободно. Несколько раз заскакивал проведать, как дела. Мама так и не появилась.

Короче, вернемся в вигвам, мама нам обоим рассказывает, как хорошо им сейчас живется, у них тут крупное поселение, почти пятьдесят человек, и большинство намного моложе ее, все занимаются вещами типа живописи, скульптуры, гравируют по меди, ваяют из камней всякую поддельную фигню в стиле «новый век» и продают на Кэмденском рынке, потом она рассказывает про Джереми, послушного идиота, которого мы встретили снаружи, ну да, она его подруга, это ему дозволено делить с ней огромную кучу провонявших одеял.

Глядя на меня, она говорит, Эмили, разве ты счастлива *по-настоящему,* нет, я же вижу, я твоя мать, а я ей не возражаю, и тогда она придумывает выход, в смысле, переехать жить сюда, ко мне, к нам обоим, то есть. Это, говорит, было бы здорово, мы могли бы вместе чем-нибудь заниматься, ты бы, скажем, рисовала, ты ведь по-прежнему хорошо рисуешь, дорогая моя?

В ответ на это я чуть ли не с цепи срываюсь, этого мне только не хватало, ну уж *нет*, никогда, ни за что. А она с таким обиженным видом говорит, почему, что здесь плохого, а мне хочется сказать, да все, абсолютно все, но вместо этого я просто ору БАРДАК!

Тут атмосфера в вигваме становится слегка напряженной. Раду, не зная, куда девать ноги, начинает ерзать и ковырять стежки на зеленом одеяле.

Через некоторое время мама говорит, бардак? ну и что, подумаешь, немножко грязновато, а я ей, немножко грязновато? Ты вот сюда погляди! Нет, то есть черепашки в ванне просто отдыхают, и тут я слегка срываюсь и напускаюсь на нее со словами: вместе чем-нибудь заниматься, вместе чем-нибудь заниматься, а какие, блин, совместные занятия ты мне пятнадцать лет назад устроила — бросила меня ради какого-то хиппи, который тебя послал, недели не прошло, ты что думаешь, мне *теперь* охота жить с тобой одной жизнью, вшивой, убогой, *полный* маразм… Я что, совсем, что ли? Хочешь, чтоб я с тобой жила? О’кей, замечательно. Тогда извинись, блин, дом купи, одежду свою постирай. И брось этого бородатого, этого безмозглого придурка, Джереми

долговязого. Это еще что за дела?

И… сожги эту заумную книгу по белой магии и колдовству, мать — ну *какая* из тебя ведьма…

До этого момента мама слушала молча, широко раскрыв глаза, а тут разразилась протестами: «Эмили, милая, у меня же диплом высшей жрицы Аваллона…»

Тогда я отхожу от нее, вскидываю руки и визжу: О ГОСПОДИ ПОМИЛУЙ, потом, метнувшись назад, ору с перекошенным лицом, а это еще что такое, этот дурацкий пятиугольник вот тут, да выкинь ты его, мать, на кой он тебе сдался, а то великому рогатому богу Пану, тому, кто козлоног, блин, и со свирелью, блин, больше делать, блин, нечего, только откликаться на призывы какой-то офигевшей бабки ненормальной, в палатке посреди равнины Солсбери… и свечи выкинь, кричу я на нее, от них воняет… вот это все сделай для начала, а тогда… тогда… совсем я сорвалась, совсем, всегда так происходит, это, наверно, ежегодное изгнание нечистой силы, и вот выкрикиваю я все эти оскорбления, рву на кусочки ее жизнь, как вдруг полог распахивается и в палатку входит мальчишка, на вид лет восьми или девяти, лицо для прикола вымазано красным, нечто вроде восточной боевой раскрас-

ки, на мальчишке продранная баскетбольная майка, грязные синие джинсы и кроссовки, он пересекает комнату и что-то спрашивает у мамы, а я уже закончила свою тираду и смотрю на него более внимательно, он же в это время меня как будто бы только заметил, на лице у него появляется легкое удивление, всего-навсего легкое удивление, что тут особенного, он, в общем, вовсе не обалдел, только чуть улыбается мне, склонив голову набок, я бы это выражение узнала, даже если бы никогда его прежде не видела, и говорит мне: «О, привет, мам».

Напряженная атмосфера, которая, как я, наверное, уже упоминала, прочно воцарилась к этому моменту в вигваме, еще слегка, скажем так, накаляется.

Какое-то мгновение я не могу пошевелиться, ног как бы нет, а в желудке ощущение ужасной легкости, словно там пена. Стоит неловкая тишина, мама смотрит на меня, подняв брови, кивая головой, словно говоря, ага, ну что же ты, давай, нападай дальше, у тебя на это есть полное моральное право, а как же. Я смотрю на мальчишку в его боевой раскраске, грязного… но волосы те же, небрежно подстриженные, падают ему на глаза, и стоит он так же, как обычно, когда смуща-

ется (угу, сейчас, похоже, как раз такой момент), немного сутулясь, у меня такая же привычка, и я, не найдя, что сказать, делаю глубокий вдох, а голос выходит тонкий такой, надтреснутый.

— Здравствуй, Джек, — все, что мне удается выдавить.

Мама вроде как шмыгает носом и говорит, ну что, Эмили, давненько не виделись, а?

Мои ноги по-прежнему где-то далеко, от них никакого проку, а я стою тут, улыбаюсь этому ребенку. Ну да, четыре года — долгий срок, она права, очень долгий срок в жизни мальчишки. Правда, на Джека, кажется, это подействовало меньше, чем на всех нас.

— Спасибо за подарок, мам. Я тебе хотел написать, но…

Его голос сходит на нет, он пожимает плечами и улыбается. Я ему футболку послала на день рождения, еще в ноябре. Двенадцатого ноября, если точнее. Он как раз футболом начинал увлекаться всерьез. За «Манчестер Юнайтед», в общем, болеет.

— Не за что, Джек, — говорю я, стараясь изо всех сил сохранить контроль над ситуацией и чувствуя, как сердце колотится все сильнее и сильнее, — тебе и не надо было ничего писать. А

что ты тут делаешь?

Он широко так ухмыляется.

— Прабабка совсем чокнулась, ее забрали! — Джек строит рожу, которая, по-видимому, должна обозначать старческое слабоумие: челюсть отвисла, по подбородку течет слюна.

— Не *совсем* так, молодой человек, — говорит мама и добавляет в мой адрес: — Устала она, вот и все. Я думаю, просто почувствовала, что с нее хватит, и легла вроде как в дом отдыха на три недели. Вернется в следующий понедельник. Знаешь, время-то идет, ей ведь уже восемьдесят три. Говорила мне, когда Джека привезла, что ей тут привиделось, как на нее и Джек своих детей нагрузит, и конца этому не будет, помереть и то не дадут.

— Представить себе не могу, чтоб она умерла, — бормочу я. — Ну, знаешь, она ведь такая сильная на вид.

И тут вдруг мы с мамой оказываемся заодно — два человека, объединенные общим опытом, внесшие важный, долгосрочный вклад в искусство быть родителями.

Короче, тут Джек поворачивается к маме и говорит, можно, он к камням сходит, а мама отвечает, ага, конечно, только не лазь на них, он

говорит, ясен день, бросает мне пока и поворачивается уходить, но я говорю, эй, Джек, а как же маму обнять, и он останавливается, смотрит на свою бабушку, потом снова на меня, подходит, и внезапно у меня в руках — такой кисловато попахивающий мешок, кожа да кости, комок этот, в который и поверить-то трудно, большой уже мальчик, подержавшись за него секунду, я чувствую, как он напрягается от сопротивления, отпускаю, он раз — и выметается.

После его ухода мы все стоим, не зная толком, что делать. Раду как будто лишился способности двигаться и дара речи, причем в данных обстоятельствах меня такая реакция, пожалуй, не удивляет, атмосфера в вигваме вся пропиталась ссорой между мной и мамой, а после еще сгустилась от появления Джека.

По-моему, пора уходить, так что я говорю, спасибо, мам, нам пора, отказываюсь от предложенного чая из сушеной коры, шкуры ласки или чего-то такого, а она, ладно, приезжай почаще, а то ты только раз в год, до свиданья, Раду — тут она его обнимает, — вот и познакомились, как здорово и т. д. И какая-то неловкость остается в воздухе, причем с обеих сторон.

Мы выходим на улицу, я спрашиваю Раду, хочет

ли он посмотреть камни, все-таки национальный памятник культуры, хотя на самом деле ничего интересного, он — ага, почему бы и нет, и мы молча тащимся через замусоренное поле, далеко впереди Джек бежит по равнине, а я как-то слегка разнервничалась, что ли. Думаю, может, мне чуть побольше общаться с Джеком, еще не поздно, ведь на самом деле я за него как бы отвечаю, так что можно ведь найти время, чтобы хоть видеться с ним, может, раз в неделю для начала, и в голове у меня начинает выстраиваться фантазия, как он живет со мной в таком маленьком домике, мы оба, в общем, счастливы, а на заднем плане этой фантазии, в тени, неясно вырисовывается присутствие какого-то мужчины, но вставить в эту картинку реальную мужскую фигуру у меня не выходит.

На полпути к камням Раду обнимает меня за плечи и говорит, Эмили, все в порядке, а я говорю, конечно, и тогда он мне говорит, знаешь, у меня тоже есть ребенок, в Румынии.

А я ему, нашел тоже, чем удивить.

А он говорит: «Он тоже есть мальчик. Двенадцать лет. Мы его зовем Георге. Он есть с матерью в Клюе. Большой, большой мальчик, с такими волосами… — Тут он приподнимает пучок своих

волос и смеется. А потом: — Я по нему скучаю, Георге. Может, ты с ним знакомишься когда-нибудь».

Ага, думаю, почему бы и нет.

И мы решаем сдаться, не идти к самим камням, потому что я устала от ходьбы, я ведь на самом деле пешком не хожу, и перед тем, как повернуть, я взглядываю на камни, а там этот мальчишка, наполовину влез на один из них по канату, солнце освещает его спину, мальчишка крохотный, прижался сбоку к здоровенному камню, в солнечном свете вырисовывается силуэт, мальчик и камень.

Он раскачивается на канате, вот заметил нас и чуть помахал рукой, я машу ему в ответ, и тогда он, качнувшись обратно, лезет, карабкается на самый верх.

На обратном пути мы говорим мало, я, правда, изложила Раду краткую версию того, что тогда, давно произошло с Джеком, и почему он живет с прабабушкой.

Понимаете, Джек не был запланирован. Просто случилось такое дело в университете. Ну, в общем, просто так вышло. Я уже готова была идти на прерывание, на аборт, разобрались бы, и все, и никаких, типа, этических возражений у меня

на этот счет нет, но просто… просто я *забыла.* Понимаю, звучит ужасно глупо. Но я решила, что сделаю, решила, когда, только другие дела постоянно мешали, и я все откладывала, говорила, на следующей неделе пойду в консультацию, но тут то экзамены, то каникулы, то еще что-то, сами понимаете… и потом получилось так, что я родила. Это был, в общем, шок, что ли. Странно, но я на самом деле не ожидала, что это произойдет, хотя и становилась с каждым месяцем все больше и тяжелее, но так до меня и не дошло по-настоящему, в чем дело.

А потом я, конечно, не могла его оставить у себя, пока училась, так что его отправили к бабушке, как и меня, только в жизни Джека это произошло намного раньше. По сути, сразу после двухмесячного кошмара — кормления грудью.

Первый год я еще заскакивала довольно регулярно, но потом посещения как-то заглохли, просто стали происходить все реже и реже, в общем, в конце концов совсем прекратились. Мне не хотелось думать об этом, я стала избегать Джека — а вместе с ним и бабушку, — потому что это напоминало о той ужасной ошибке, хоть он и был всегда милым ребенком с копной волос и до странного взрослыми манерами.

Да, кстати, на случай, если вам так уж интересно: с отцом Джека у нас ничего не замутилось бы, однозначно. Звали его *Терри*, родом он был из Стока — типа, что за дела?

Но все равно, какой смысл убиваться из-за таких вещей? Нельзя же все за собой таскать по жизни — с ума сойдешь. Не знаю, может, сейчас как раз подходящий момент снова, типа, принять активное участие в воспитании? Увидела его, и у меня появилось это странное дергающее чувство, не знаю, вина, что ли, или материнский инстинкт, или даже, скажем так, любовь.

Но в общем, что-то в этом есть… так я думаю про себя, пока поезд мчится через редкие леса и неброские поля Хэмпшира, может, мне следует решиться и начать видеться с ним, типа, раз в неделю на первых порах? Узнать его получше, может, дать его прабабке передохнуть на неделе. Я же ведь не то чтобы особо занята.

Плюс хотелось бы узнать, почему бабушка решила, что ему будет лучше с мамой, а не со мной; это еще что такое? Когда вернемся, позвоню ей разобраться, а Джеку напишу, типа, извини, в общем, мама вернулась. Если она тебе нужна.

Тем временем Раду сделался скрытный такой, задумчивый, весь сжался на своем сиденье у

окна, почти не разговаривает, наверное, думает о Джордже, или как там его сына зовут.

Ну ладно, сижу я, значит, в очередном баре на Баттерси-райз, утешаю Сола с Дипаком, а то Фронт освобождения животных зашвырял «Овцераму» бутылками с зажигательной смесью, типа, по поводу овец. Ночной клуб просуществовал две недели, пока горсовет не вмешался и не спас животных. Их забрали, обследовали и обнаружили расстройства, травмы, плюс угрозу перманентного повреждения органов слуха от музыки «Звать меня Эрном» и т. д. Что тут скажешь, они бы лучше людей, блин, обследовали.

Короче, сначала клуб закрывают, потом клуб забрасывают бутылками с зажигательной смесью, но чокнутому народу из живосвобождения даже этого мало, поэтому они отлавливают Сола с Дипаком в их старом баре и забрасывают бутылками и его *тоже.* Солу вообще угрожали смертью, его фамилию вывесили на этом сайте, очень агрессивном, кто-то подложил ему кошачье дерьмо в почтовый ящик, а окна заляпал кровью, происхождение которой остается загадкой.

В общем и целом, идея с овцами, по единодушному мнению всех, оказалась плохой.

Сол сидит в углу, потягивает из стакана «Сан-

сер» и слушает, как Дипак рассказывает о следующем проекте, в котором — тут Сол непреклонен — не должно быть никакой фауны, даже типа букашек. Дипак собирается занять еще денег у своего папы-военного, тот вроде большая шишка в Пакистане или в Индии, ну, короче, где-то там, и примерно раз в полгода отмазывает его солидными чеками.

Мы все нажираемся с приличествующей случаю мрачностью, все, кроме Раду — вид у него в дешевой двойке из «Ривер-Айленд» строгий, восточноевропейский.

К маме мы ездили вчера, так что письмо Джеку я пока не закончила, писать оказалось труднее, чем я ожидала, что-то не особо получается найти правильный тон.

Правда, бабушке я позвонила, спросить, как она и почему Джек остался с мамой, а не со мной, а она говорит, ты знаешь, Эмили, я подумала, то ли мне отправить его пожить с Карен, в палатке провонявшей, вокруг сточные канавы и хиппи грязные, от наркотиков одуревшие, то ли с тобой оставить в Лондоне — так это же ни в какое сравнение не идет. Я ей сообщаю, что собираюсь теперь почаще видеться с Джеком — ну, то есть, вообще видеться — и, может, в конце концов

возьму его к себе, а она, ага, ага, понятно, конечно, ладно. В общем, она, похоже, не верит, что я вернусь к Джеку. Но я вернусь. Правда.

Раду меня начинает раздражать в последнее время, с тех пор, как мы из Уилтшира вернулись, такой весь необщительный, угрюмый и еще сильнее боится, что за ним придут из секретной службы. К тому же он все больше и больше ругает Лондон, говорит, ну и помойка, место просто отвратительное, как он его ненавидит, жаль, уехать не может. Сегодня утром между нами произошла странная ссора, причем я, если честно, до сих пор не знаю, как это понимать. Мы с Маппи сидим, пьем чай на кухне, как вдруг Раду вылетает из ванной, с лица вода течет, в общем, явно настроен не на шутку враждебно. Мы, значит, сидим себе, смотрим на него, а он трясет в ярости головой и орет:

— Это не есть цивилизованная страна!

Мы оба все смотрим, не зная толком, что на это сказать, а Раду опять за свое:

— Это *не есть* цивилизованная страна! В цивилизованной стране есть *краны со смесителем.*

Ну, поначалу мы, конечно, думаем, что он шутит, а потом понимаем, что нет, и Маппи ему тогда, скорчив недоуменную рожу: о чем это ты,

Раду, какие еще краны со смесителем? А Раду:

— КРАНЫ СО СМЕСИТЕЛЕМ! Это есть просто: краны со смесителем. Вот, — говорит, изображая, как открывают кран, — у вас есть два крана. Есть горячий кран. Есть холодный кран. Вы либо слишком горячо, либо слишком холодно! В цивилизованной стране, там краны со смесителем…

А мы такие, ой-ей-ей, да он озверел, озверел с этими кранами. Маппи как бы подавился смешком, а Раду смотрит на него сверху вниз, показывает пальцем и продолжает уже спокойнее:

— Я тебе говорю, там краны со смесителем. И я тебе еще одну вещь говорю. В цивилизованной стране понимают, что правильно, и понимают, что неправильно. Такое положение в Румынии.

А Маппи ему, нахмурившись:

— Ты хочешь сказать, что правильно и что неправильно в смысле сантехники?

А Раду кивает и говорит:

— Да, и в любом смысле.

И пошел обратно в ванную — вроде как высказался. Маппи встает и кричит ему вслед:

— Раду, горячую воду с холодной в раковине смешивать надо.

Но из ванной ни звука, все тихо.

А Маппи мне:

— Ну, я же как лучше хотел.

В общем, эта дикая вспышка произошла сегодня утром, и с тех пор он ходит надутый и обиженный. Плюс, я же говорю, он еще больше обычного нервничает, скрытничает, к Солу с Дипаком вообще не хотел идти. Считает, что двое сотрудников секретной службы его выследили и только и ждут момента, чтобы схватить. Действительно, Биба видела, как парочка зловещего вида ребят в плащах околачивалась у нас на углу улицы, но ведь это же Балэм, что тут такого-то? Ни фига — Раду считает, что его карты раскрыты, и из дому выходит, только если кто-нибудь, Маппи, например, проведет разведку на главной улице с обеих сторон, с целью углядеть подозрительных типов средиземноморской наружности.

Даже тогда он выходит без особой охоты — уж больно Лондон ненавидит. Декадентский город, говорит.

Не знаю, в Уилтшире мне с ним так хорошо было, но как-то все между нами остыло, я же вижу. Сексом уже больше недели не занимались; раньше он обычно будил меня по утрам с этой широкой благодарной румынской улыбкой, здравствуй, Эмили, а теперь только пернет, перевернется и давай храпеть.

В общем, сейчас в этом баре он в одном углу съежился, Сол в другом, а мы все где-то между. В какой-то момент ко мне подруливает Тоби, говорит, видел на той неделе Ника, выглядит парень неплохо, завел подружку, звать Астра или что-то в этом роде, якобы владелица ипподрома, короче, всем доволен. Я уже хотела спросить, не говорил ли он про меня чего-нибудь, но тут нам помешала разборка в третьем углу бара, шум, крики, все дела, мы подумали, ну вот, опять ребята из живосвобождения, но нет, это всего лишь Троя колбасит на полу, а народ рядом с ним переживает, что у них стаканы опрокидываются и все такое. Симба тоже начинает уставать от своего мужика. Поначалу было вроде интересно, когда его колбасило, но теперь стало как-то скучно. Может, опять все по новой начнется в тусовке, иди знай.

Биба подходит и говорит мне, что у Дома новая девушка по имени Лорис — используя Бибин лексикон, ленивое медведеподобное создание с ядовитой шкурой. По-моему, отвечаю, для Дома в самый раз, Биба смеется, я спрашиваю, а какая она на самом деле, а Биба:

— Ну, начать с того, что она черная.

А я:

— Что, индуска или пакистанка, или, это самое, в полный рост?

А Биба говорит, в полный рост, сто пудов, и добавляет, приподняв брови, да, вот тебе и Дом, еще фашист называется. Кто бы мог подумать?

А потом Биба говорит, что Сол сказал, что на прошлой неделе были выборы или что-то типа того, все правительство только что сменилось, и с этого момента все будет по-другому, а я спрашиваю Бибу, в каком смысле по-другому, а она говорит, что вообще-то не знает, интересно, думаю, почему я не слышала о выборах, бреду в угол и спрашиваю Сола, что произошло, а он мне просто:

— Мы проиграли.

Потом я пью водку с диет-тоником и думаю про себя, может, послать всех, пойти домой, закончить письмо Джеку, но одной мне на такси не хватит, так что бреду вместо этого к бару, заказываю еще выпить, сажусь со стаканом и думаю про всякое.

В общем, сижу, смотрю на знакомую картину перед собой и размышляю, может, эта странная дыра внутри — просто отсутствие Ника. Интересно, думаю, какая из себя Астра, надеюсь, Ник и в самом деле счастлив.

Ладно. Ну, вру, ну, бывает.

4

Ну вот, пора ехать навещать Анну, мы все надеемся, что зрелище будет не слишком уж безобразное, но не особо в этом уверены: последнее, что мы слышали от Тоби, — она начала стрекотать.

Перед посадкой в самолет я раскатала дорожку кокса, и дыхательные пути у меня, кажется, вот-вот разорвутся. Мы всё карабкаемся ввысь над серым, промокшим насквозь Лондоном, у меня уже началась по нему ностальгия, я крепко вцепилась в руку Тоби, а ладони у меня влажные от страха. Не люблю летать. Тоби купил мне билет или, по крайней мере, одолжил денег, пополнив тем самым растущие ряды недовольных кредиторов, куда теперь входят практически все мои друзья, кроме Раду, конечно. Ужасающая перспектива устройства на работу все приближается, с этим как раз проблемы, потому что делать я ничего не умею, иногда даже стоять как следует не могу. Надеялась, от Симбы хоть что-то получу за помощь с гуакамоле, но стоило спросить, она как развоняется, мол, она думала, мне *самой хотелось* провести целый день за резкой авокадо

и выжиманием лимонов. Типа, что за дела?

Тридцатку, которую я считала своей кровной, вот так вот взяли и отобрали.

Плюс еще в эти выходные я собиралась заскочить повидать Джека, но лететь надо было сегодня, а то, сами понимаете, билеты были бы в два раза дороже, ну, а мы все на мели, и прочно. Но все-таки письмо Джеку у меня с собой, собираюсь его закончить, пока летим. Я с Джеком две недели не виделась, так много всего сказать надо, может, даже слишком много.

Пилот говорит, наш полет будет проходить на высоте тридцать пять тысяч футов.

Ну ясное дело, думаю. Тоже мне новости.

В общем, летим: я, Биба, Тоби и Софи, и всё. Раду не поехал, потому что у него не было денег на самолет, плюс Америку он ненавидит даже больше Лондона, плюс он боялся, что его туда не впустят или, наоборот, не впустят *обратно*, когда попытается вернуться.

Доминик не поехал, потому что Софи тут, плюс у него новая девушка, Лорис, а Трой с Анной недостаточно близко знаком, плюс мы решили, что с ним будут проблемы в самолете из-за этих его «непроизвольных движений». Йохум остался у Бибы дом сторожить, а Сол с Дипаком заняты

своим очередным проектом, о котором никому не рассказывают.

Сделали пересадку в Нью-Йорке и летим в это богом забытое место под названием Батон-Руж, где Анна лежит в этом кошмарном исследовательском институте под управлением военного ведомства. Самолет подпрыгивает высоко над Атлантикой, смотрю в окно, а там только холодный, серо-голубой стальной мир и больше ничего на сотни и сотни миль вокруг, тут на меня снова наползает космическое чувство, сижу неподвижно, держусь за руку Тоби и надеюсь, ну просто очень надеюсь, что меня не будут заставлять смотреть на ее ноги.

Правда, теперь уже дело не только в ее ногах.

Мы все ютимся в мотеле милях в десяти от исследовательского института на краю огромного болота, которое простирается далеко, насколько взгляда хватает. Полночь, мы все порядком расстроены и до смерти хотим курить, но, конечно, ни у кого с собой ничего нет, а Биба этот свой тиленол размельчает и с бурбоном смешивает, и всё нудит, как полная истеричка, насчет того, что все, это конец, больше никто из нас Анну в живых не увидит, и что исследовательскому институту она не доверяет, и знаете, может, нам

нужно выщепить ее оттуда и отвезти домой в Лондон, в смысле, хуже ведь ей уже не будет. И я с ней в кои-то веки отчасти согласна, сижу на краю ярко-оранжевой постели, наблюдаю, прямо как под гипнозом, как электрическая штуковина на стене у окна в нашей комнате мочит здоровенных насекомых, а Тоби вырубился у меня в ногах и молчит, он все это очень тяжело переживает, а Софи лежит, растянувшись во весь рост на кровати, и стоит ей перевернуться или просто чуть пошевелиться, от нейлона летят искры. Мы все сидим слегка офигевшие и испуганные, а тут еще эти странные животные звуки с огромного болота, плюс отовсюду вокруг, из соседних вонючих комнат, в общем, что делать, толком непонятно.

Исследовательский институт милях где-то в двадцати от этого городка, Батон-Ружа, там полно всяких знаков совершенно секретно, и входа нет, и опасно, не подходить, и «Биоопасность!». В общем, всякие знаки типа не влезай, убьет, такие еще бывают в страшных ядерных центрах и везде, где находиться не положено.

Охраняли его солдаты с пулеметами, а сотрудники были странные, по моим понятиям, вовсе не похожие на врачей или медсестер. То есть я знала, что это военная организация, но думала,

там будет что-то типа армейского госпиталя.

Короче, только мы все подвалили к входу, сразу возникают проблемы с проверкой удостоверений, они нас там сто лет продержали, потом дали сигнал проходить, но перед тем конфисковали фотоаппарат Софи и перерыли всю нашу ручную кладь и прочее.

Потом этот охранник в форме, с автоматом, блин, ведет нас черт знает в какую даль, мимо полузарытых в землю цементных бункеров и странных металлоконструкций, похожих на тот химзавод рядом с въездом в блэкуоллский тоннель. Кое-где свет горит, тонкий серый дымок из труб просачивается, мы все думаем, какого хрена они тут затевают, только на самом деле, если честно, лучше нам про это и не знать.

Наконец добрались мы, похоже, до главной части института, такое длинное, низко нависающее здание, выкрашено белым, по одной стороне сплошь крохотные окошки, и там нас встречает шустрый такой, фамильярный лысый американец по имени Фрэнк, и всем его хочется треснуть, просто немедленно. Он говорит, что Анна в палате одна, чтобы войти, надо надеть маски, и без сопровождения нам к ней нельзя. И идет с нами по безлюдным антисептическим коридо-

рам, в ноздри лезет запах карболки, а Фрэнк нам все объясняет, понимаете, вам, наверное, будет весьма тяжело, болезнь спрогрессировала, очень сожалею и т. д., мы мало что можем сделать, а я такая, ой, не знаю, могу не выдержать, а потом нам повязывают на лицо марлевые маски — мы перед дверью комнаты, а на табличке сказано, что это комната Анны. И вот мы боязливо входим один за другим, трясемся все.

Внутри темно, полная темнота, один этот тусклый красный свет с потолка, разглядеть вообще хоть что-нибудь очень трудно, но все равно, стоило нам только столпиться вокруг ее кровати, как мы все сразу, типа, что за дела, хренотень какая-то. Все тело у нее как будто заковано в жуткие черно-коричневые латы, рифленые, по самые груди, пока еще вроде как нормальные за исключением сосков, которые стали абсолютно черными. Кроме того, из живота и ног у нее повсюду торчат такие коричневые иголочки, а на их кончиках волоски растут. Лицо тоже практически нормальное, только глаза странные, будто ее глючит от чего-то невероятного, темно-темно-фиолетовые и, типа, расширенные, а потом мы пригляделись получше и видим, что кожа у нее на руках тоже пошла морщинами и

начинает коричневеть. Она подключена к таким двум установкам, одна откачивает у нее из грудной клетки густую, грязновато-белую жидкость, вроде ванильного молочного коктейля из «Макдональдса», а другая что-то замеряет, и оттуда все время: бип, бип, бип, то ли сердце у нее бьется, то ли еще что.

Ну и мерзость! Сначала мне кажется, что ее голова также к чему-то подключена, но потом я приглядываюсь все ближе и ближе и до конца не могу поверить: ни к чему она не подключена, на самом деле это *усики-антенны.*

Пахнет дезинфицирующим раствором и разлагающейся растительной массой, и меня сейчас, похоже, вывернет. Стоим все в полном шоке, а Анна поднимает на нас глаза с таким поразительно спокойным выражением и улыбается Тоби, а тот, типа, берет ее за руку.

— В такую даль приехали, — говорит она наконец, — спасибо.

Мы чего-то бормочем, все еще не в состоянии пошевелиться при виде того, что произошло с ее телом, мне слышно, как Биба шмыгает носом, тогда я пихаю ее под ребра, беру Анну за другую руку и только тут замечаю, как жарко в комнате и какая горячая у нее рука.

Анна опять улыбается и спрашивает:

— Ну что, ребята? Кто с кем нынче трахается?

Когда она говорит, ее усики колышутся в воздухе.

Но по крайней мере лед тронулся от этого «кто с кем трахается», потому что это как будто прежняя Анна, та Анна, которую мы все знаем, любим и т. д., тут Биба заводит длинную байку про меня и Раду, причем я всю дорогу глуповато улыбаюсь, потом рассказывает Анне про Троя и Симбу и про это дело с колбасней, а потом она вроде заглохла, и в комнате тихо так стало, только из одной установки все время раздается бип, бип, бип, а из другой — негромкий клекот.

Я напрягаю зрение в сумраке, а Анна заметила, что я щурюсь, и объясняет, что она теперь не переносит яркого света, глаза слишком слабые, извините, мол, и все такое. Пробыли мы там всего десять минут, тут Фрэнк выдвигается вперед, пора, говорит, уходить, а Анна не протестует, так что мы просто оставляем ей гору книг, журналов и конфет и спрашиваем, не нужно ли чего-нибудь еще, а она нам, нет, не беспокойтесь, все классно, бывайте, до скорого. Мы прощаемся, целуем ее, говорим, скоро придем, очень скоро, в полном отпаде направляемся к двери и только собрались

выйти, как из койки доносится странный звук, такой, что просто крышу сносит, обернулись посмотреть, а это Анна стрекочет.

В коридоре Биба немедленно облевала Фрэнка, он это воспринял довольно-таки спокойно, а Тоби стоит, головой к стенке прижался, весь на измене, прямо задыхается и все такое, тут Фрэнк нажал на кнопку, появились какие-то негритянки в комбинезонах, одна начала убирать блевотину, а другие провели Бибу и Тоби в специальное помещение, кругом мягкая мебель, успокаивающие картины в пастельных тонах, а я, у меня все просто онемело, а Софи спрашивает, можно ли здесь курить, и выясняется, нет, нельзя.

В общем, мы все в этой комнате, Биба плачет, Тоби абсолютно ни во что не врубается, а в дверях появляется еще один врач, в хорошем костюме с галстуком, не то что все остальные, в белых халатах или комбинезонах. У него короткие черные волосы, как проволока, очки в стальной оправе, он улыбается нам всем сочувственно и говорит, привет, я — лейтенант Ангстбайссер, хочу вам, ребята, сказать пару слов, и тут он протискивается в комнату и начинает:

— Послушайте, я понимаю, для вас это — ужасный шок. Понимаю, что увидеть друга, близкого

друга, замурованного в собственной коже, наверное, самое страшное из всех испытаний. Но ситуация не так уж плоха, как вам сейчас может показаться. Уезжая отсюда, вы должны понимать, что в Первом медицинском исследовательском институте армии США, штат Луизиана, ваша подруга проходит курс лечения, какого нигде ни за какие деньги не купишь. Мы не жалеем средств. Например, наблюдать только ее одну назначены трое консультантов. Питание отменное, как в пятизвездочном ресторане, по желанию, в палате имеются любые развлечения: плазменный телевизор, DVD, доступ к Интернету. Уход ей обеспечен именно такой, какого следует ожидать от самой могущественной военной организации на Земле. Она в *надежнейших* руках, смею вас заверить.

Тоби глядит на него с разинутым ртом и качает головой.

— Она же *умирает.*

Какое-то время лейтенант Ангстбайссер обдумывает эту концепцию, потом протягивает Тоби руку.

— Привет, — говорит он, — ты у нас кто будешь?

— Тоби дю Ной, — бормочет Тоби.

— Видишь ли, Тоби, а вот этого мы как раз и не знаем. Не знаем мы этого. Не стану тебя обманывать, мол, ее состояние нетяжелое — очень тяжелое. Девушка серьезно больна, и я понимаю, что с твоей точки зрения положение выглядит неважно. Но, возможно, нам еще удастся победить это…

— Вы что, *издеваетесь?* — кричит на него Тоби. — С тех пор, как она здесь, болезнь прогрессирует быстрее…

— Э-э-э, — говорит лейтенант Ангстбайссер, — вот насчет умирает — не знаю, не знаю. Может быть, истина в том, что она идет по другому пути развития, становится совсем иным человеком, чем тот, которого вы все помните. Очень даже может быть. И меняется она, между прочим, не обязательно в худшую сторону. С физической точки зрения она, несомненно, становится человеком более сильным — в определенной окружающей среде. Нужно верить, Тоби…

— Верить? — неожиданно говорит Биба. — Она же просто хотела волосы на ногах вывести, и все.

— Понимаю, понимаю. — Ангстбайссер грустно качает головой. — Но верить все равно нужно. Верить в ее способность преодолеть это состояние — или, возможно, приспособиться к нему в конце

концов; верить в нашу технику, а она, между прочим, лучшая в мире. Скажи, пожалуйста, а тебя как зовут?

— Да пошел ты, — огрызается Биба и встает, оглядывая всех остальных.

Тоби тоже поднимается на ноги и говорит Ангстбайссеру:

— Послушайте, нас еще вот что беспокоит. Мы всё понимаем про стоимость медицинского обслуживания в Америке, и, судя по тому, что вы рассказываете, это должно быть недешево…

— У-у-у-у… недооцениваешь ты, Тоби, ситуацию, так сказать.

— …ну да, но, знаете, родители у нее не богачи. Они, в общем, типа, как все. Хочется быть уверенным, что ее отсюда не вышвырнут, как только кончатся деньги, скажем, посередине курса этого вашего лечения.

Ангстбайссер как будто слегка удивлен, затем кивает.

— По-моему, Фрэнк, это к тебе…

Фрэнк выходит вперед с чрезвычайно серьезным видом.

— Об этом не может быть и речи, сэр. Просто не может быть и речи. Мы здесь, в Первом медицинском исследовательском институте армии

США, вообще не принимаем платных пациентов. Счета оплачивает правительство США. А в случае с вашей подругой мы, наоборот, согласились ежемесячно выплачивать ее отцу с матерью основательную сумму в порядке компенсации за то, что ей приходится лечиться за много миль от дома.

Секунда-другая уходит на то, чтобы загрузить информацию, а потом мы такие: *«Чего?»*

— Это *вы им* платите?

— Да вы что, типа, смеетесь?

Но Фрэнк резко вмешивается, весь в искусственном возмущении и гневе.

— Эй! Постойте! Только не надо неверных представлений на этот счет! Анне обеспечивается самое лучшее лечение, какое только возможно, лучшее в мире — ни о чем другом не может быть и речи, ни в коем случае. Самое лучшее. Исследования МК на столь высоком уровне нигде и никем еще не проводились. Факты таковы: возможно, нам удастся помочь Анне и в то же время сделать несколько замечательных открытий, которые смогут по-настоящему поспособствовать человечеству в деле прогресса. Особенно в военной сфере.

Мы все просто поражены. Тоби трясется, бук-

вально с пеной у рта.

— ХОЧУ… ЧТОБЫ… ЕЕ… ВЫПУСТИЛИ!

Фрэнк широко распахивает объятия и обводит нас всех взглядом.

— Ну, разумеется, если вы этого хотите. Это же Соединенные Штаты Америки; у нас тут демократия. Мы отвечаем за все, что делается. Так, при поступлении в анкете в качестве опекунов Анны были указаны ее родители. Единственное, что им надо сделать, это подписать согласие на выписку, хлоп — и всё, свободны, девушка. Но поймите — она здесь проходит лечение на высшем уровне.

— А может быть, — вставляет Ангстбайссер, — ее родители смотрят на вещи немного шире — ведь может же такое быть, а? Может, они понимают, что Анна представляет собой еще большую ценность, чем они полагали. Ценность в мировом масштабе.

В общем, загораем мы теперь в этом луизианском мотеле, кумара нет, ощущение полной импотенции. Тоби пытался позвонить родителям Анны по своему мобильному, но он тут не работает. Тогда он позвонил из гостиничного холла, пихая монетки в автомат, а родители Анны говорили ну очень уклончиво и ничего определенного не обещали, сказали, что ничего пока не

хотели бы предпринимать по этому поводу, надо пока посмотреть, как пойдет лечение, когда они последний раз видели Анну, она, кажется, была всем довольна и т. д.

Мы лежим в полном отрубе, а Биба опять:

— Ведь она же просто волосы на ногах хотела вывести.

Софи качает головой, типа, грустно так, и говорит:

— Воском надо было.

А я хочу домой, прямо сейчас, хотя Софи все поговаривает о том, чтобы завалиться к Астре на чердак на пару дней, а Биба целиком за то, чтобы предпринять вооруженное нападение на Первый медицинский исследовательский институт армии США и забрать бедняжку Анну куда-нибудь, куда угодно.

Я сползаю с кровати и вытаскиваю себя на улицу, прогуляться. Прохожу через парковку по этой жаре, воздух густой, рубашка быстро становится влажной, но ничего, стою на границе, где кончается территория мотеля и начинаются болота, прислушиваюсь к шумам: огромные насекомые гудят, как помехи в дешевом приемнике, то и дело вскрикивает какая-то странная птица, а я стою вот так целую вечность, наблюдаю за болотом и

думаю про бедняжку Анну.

5

Дома дела идут все хуже, с разных сторон надвигаются всякие обломы, как сговорились, просто не знаю, что делать. Письмо Джеку все никак не закончу, какая-то часть моего «я» размышляет, а такая ли уж это вообще хорошая идея, написать. Если честно, непонятно, какая ему от меня польза. Сажусь в кухне за стол, передо мной это письмо, а что написать, не знаю. Дорогой Джек, рада была повидать тебя вчера — вот пока что и все. Только теперь уже, скорее, месяц назад.

И с Раду тоже проблемы продолжаются. В общем, не представляю, что из этого выйдет. Иногда мне даже кажется, что, может, это у меня любовь, но потом думаю, да нет, какое там и т. д. На самом деле, он иногда просто раздражает, особенно когда надуется и ходит обиженный, но какая-то часть моего «я» считает, что нужно просто подождать.

И тут случилось вот что.

Он практически полностью замкнулся в себе, закрылся у меня в комнате и выходить практически отказывается, даже дверь никому, кроме меня, не открывает. Опять выступает насчет

темнокожих, декадентства, потом насчет бога, а также насчет Маппи, что он в гостиной мокрые полотенца бросает, а Маппи, честно говоря, от него уже начинает порядком тошнить.

Я, Биба, Йохум, Маппи и Доминик сидим дома у Бибы, Маппи говорит, что где хочет, там и будет бросать мокрые полотенца, и нечего ему запрещать, по крайней мере он-то здесь на легальном положении, а я говорю, ты пойми, Маппи, мокрые полотенца имеют очень важное значение в жизни Раду, т. е. его же ими пытали.

А Доминик хихикает в своей самодовольной аристократической манере и говорит, ах вот как, правда, ты что, действительно так считаешь, Эмили?

А я говорю, да, он мне сам все про это рассказал, что ты имеешь в виду, а Доминик смотрит на Бибу, а Биба в ответ смотрит на Доминика, и тут Доминик берет слово.

— Ну ладно, Эмили, — говорит он. — Знаешь, эти двое ребят, Раду еще уверял, что они из секретной службы? Я с ними позавчера разговаривал. Мне надоело, что Раду каждый раз, как их увидит, начинает психовать, а пока тебя не было, они тут еще чаще ошивались. Ну я и решил, пошлю их куда подальше, ну, знаешь — может, полицией

припугну или там…

— Да, — киваю я, — и?..

— Ну, подхожу я к этим ребятам и говорю, вы кто вообще такие, чего тут околачиваетесь, а они сразу говорят, ты этого человека знаешь? И показывают страницу из румынской газеты, а там прямо посередке фотография твоего Раду, а я такой, допустим, знаю, ну и что?

Тут я рассвирепела, говорю: *что-что* ты сказал? Они, блин, из секретной службы, как ты мог вот так взять его и сдать, а Биба говорит, ш-ш-ш, Эмили, тихо, ты послушай, а Дом продолжает:

— Короче, эти двое мужиков говорят, значит так, его, типа, ищут за разные преступления, которые он еще в Румынии совершил, есть даже дела вообще десятилетней давности, когда он был как бы подручным у их правителя, у этого, Чаушеску. А этот Чаушеску был просто настоящая сука, и весь румынский народ собрался вместе, его, типа, убили и всех его друзей и сторонников тоже пытались убить, а Раду, по их словам, был среди них одним из самых видных.

На это я ничего не говорю. У меня просто такое чувство, как будто желудок внутри начинает куда-то соскальзывать.

— Знач-чит так, — продолжает Дом, — смотрю

я на эту газетную вырезку и ничего не понимаю, там же по-румынски, а они мне твердят, что Раду разыскивается за всякие дела, типа, изнасилования, убийства, пытки над людьми и преступления против человечества. И за геноцид. И за мошенничество. Но я им верить особо не верю и говорю, валите отсюда, пока я ментов не позвал, а если без дураков, то вы сами из румынской секретной службы, нелегально охотитесь за членом подполья. В общем, на это они, типа, смеются. А я их спрашиваю, что, блин, такого смешного, а они говорят, да мы-то, на хрен, не из какой не из секретной службы, мы из организации по правам человека в Бухаресте, показывают мне удостоверения, маленькие такие, и говорят, что Раду как раз и работал в секретной службе. Должность у него была, типа, сотрудник органов безопасности, работал, так сказать, в их румынском аналоге КГБ. И начинают меня грузить на предмет его преступлений, в подробностях, причем довольно шокирующих.

Доминик сидит самодовольный такой, а у Бибы вид всезнающий, это она, блин, много себе позволяет, при том, что она сама же и нашла этого Раду, а я пытаюсь говорить, но рот у меня пересох, потрескался и не действует. Однако беру себя в руки

и говорю таким безнадежно тоненьким голосом:

— Но ведь мы же не обязаны им верить, а? То есть, если бы они были из секретной службы, ведь они бы тебе не сказали, а? Как-то это все не сходится, а? С какой стати Раду именно сюда было приезжать?

А Доминик:

— Почему бы, собственно, и не сюда? Эти ребята говорят, его преступления настолько чудовищные, что каждая страна в Европе все про него знает — вот поэтому ему и пришлось уехать из Дубровника, Парижа и из всех прочих мест, где он останавливался. Рано или поздно его обнаружат, вот ему и приходится пускаться в бега.

— Ой, Эм, я прямо не знаю, кому верить. Но, если подумать, версия Раду какая-то странноватая. Если б он был тем, за кого себя выдает, у него бы все основания были просить убежища в любой стране на Западе — но он скрывается, и всё. А эти ребята говорили, что в Румынии теперь демократия, прямо как у нас, так что чего ему бояться, если он этих жутких преступлений не совершал.

Я все это обдумываю, голова кругом идет.

— Что ты им сказал в результате?

— Да ничего определенного. Дело твое, так ведь? Они мне дали номер, куда звонить.

Доминик передает мне обрывок с номером мобильного телефона. Уставившись на цифры, я говорю:

— Так его, типа, в изнасилованиях обвиняют?

— Да, в основном престарелых. И в убийстве. И в геноциде, или как его там.

— Но мы же не знаем наверняка, правда это или нет, а?

— Нет, Эм. Наверняка, пожалуй, не знаем.

Ну, и что бы вы стали тут делать?

С парнями ведь какие в основном проблемы: переживаешь, не трахается ли он на стороне, и либо так и живешь в сомнениях, либо посылаешь его, в зависимости от того, что пересилит — чувства или, так сказать, характер подозрений. И насколько весомы доказательства.

Только здесь дело другое: мой нынешний бойфренд обвиняется во всяких преступлениях против человечества, плюс изнасилования, плюс убийство, плюс мошенничество, а мне тут же вспоминается одно, как он плакал той ночью, когда рассказывал мне, что с ним произошло. Перенесение, так Доминик говорит. Этот псих, маньяк вконец охреневший, чувствует свою вину, и ему необходимо кому-нибудь рассказать об этом, только рассказать как есть он не может,

потому говорит, что это, наоборот, с ним самим произошло. Похоже на правду?

Может, конечно, и так.

Потом я думаю о том, какой он иногда бывает милый, особенно когда мы трахаемся, и этот его вид, как будто он в Лондоне потерялся, и как он трогательно коверкает английский, я считаю, такие вещи сразу заметны; ну должен же человек как-то выделяться? Либо одно, либо другое, разве не так? Либо ты маньяк, либо нормальный человек. А маньяк явно так не станет: просыпаться среди ночи в слезах, а потом до ужаса нежно и кротко просить подругу, держи меня, мне страшно, после чего засыпать в ее объятиях… правда же? Разве психи такие бывают?

Не знаю. Я-то считала, у нас с Раду все подходит к концу, может, хватит уже тянуть, а тут поступает эта свежая информация, и какая-то часть моего «я» думает, угу, вот это и решает дело. А другая часть как-то не вполне уверена.

Понимаете, я ну до того уже устала постоянно рвать отношения под тем или иным предлогом. У меня просто сил нет даже размышлять на эту тему. Ка-а-а-а-к же я устала. Эти ужасные разговоры, потом упрашивания, потом еще такси вызывать, чтоб забрать все барахло, а потом телефонные

звонки, и так толком и не поймешь, правильное ли вообще это было решение.

А после обязательно будет кто-нибудь новый — и, если честно, наверняка еще хуже.

Ну, думаю, а с Раду-то что, может, все равно его бросить, потому что ничего, типа, не получается, а про это дело с массовыми убийствами мне даже упоминать не обязательно, может, просто так и сделать и не ввязываться особо. И так слишком много всего происходит, слишком о многом думать приходится. А тут еще и с деньгами проблем немерено, пошла на полставки Симбе помогать делать соусы, на это тоже прорва времени уходит.

И еще Джек. Надо правда закончить письмо. Просто взять и собраться с мыслями, хоть ненадолго, подумать, о чем написать, что ему сказать.

В общем, когда я прихожу домой, Раду-преступник сидит, развалившись перед телевизором, смотрит «Войны роботов» и пьет апельсиновый сок из пакета, а Джессика дремлет, уютно обвившись вокруг его ног. Ну и какой смысл устраивать ему допрос, что-то обсуждать? Он все равно возразит, что эти мужики на том конце улицы из секретной службы, просто обманывают всех, а

сами опять хотят учинить над ним это издевательство с овчарками, мокрыми полотенцами и электродами.

То есть не скажет же он, да, Эмили, всё, блин, попал я по самое не балуй, правда же?

В общем, вместо того, чтобы сказать: здравствуйте, вы не массовый убийца? — я просто говорю, привет, Раду, ну, как день прошел, а потом ложусь с ним в постель, и, если честно, у нас получается немного лучше обычного, в смысле, секс.

А потом, на следующее утро, я думаю, погоди-ка… может, и не надо никаких допросов ему устраивать? Может, на этот раз неизбежное развитие всего этого маразма, в общем, как всегда бывает, когда расстаешься с кем-нибудь, есть шанс предотвратить, более-менее безболезненно? И эта мысль прочно засела у меня в мозгу, я знаю, нехорошо так думать, но, понимаете, это решение очевидное и простое, а как разберусь с Раду, тогда, может, смогу все внимание уделять Джеку. Или хотя бы письмо закончу.

6

Анна хотела вывести волосы на ногах, и всё. Ни малейших намерений превращаться в гигант-

скую саранчу у нее не было. Говорят, она там всем довольна, питается зерном и сучит ножками. Но я бы себе такую жизнь не выбрала. Не то чтобы всегда был выбор…

В это утро я пораньше покинула свою комнату, отпихнула от входной двери Джессику — она заглатывала мышь — и отправилась немного прогуляться вдоль Балэм-хай-стрит, просто чтобы голову проветрить. Потом вернулась домой, сказала Раду, что пошла к Бибе, и договорилась с ним встретиться попозже в «Ребатосе», в Стокуэлле.

Потом позвонила по номеру, который мне дал Доминик.

Я сидела в маленькой кофейне напротив «Ребатоса» и молча, попивая кофе, наблюдала, как двое мужчин запихивали Раду в серую «воксхолл-астру». Они газанули в сторону Кеннингтона. По-моему, он меня увидел перед тем, как его схватили, у него в лице промелькнуло такое выражение смутного непонимания, непонимания, а может, даже легкого оцепенения, что ли, а потом те двое выскочили неизвестно откуда и бросились на него, стали накидывать ему на голову пальто и запихивать в машину.

И у меня на какой-то миг возникла мысль: давай, Раду, бей их, отбивайся, беги, но он практи-

чески не сопротивлялся, только рухнул тихонько так на заднее сиденье — и всё, и нет его.

Что я чувствовала? Да ничего особенного, если честно. Только усталость; усталость да еще эта мысль: я его сдала не потому, что он массовый убийца, насильник, мошенник и т. д., а просто, понимаете, в последние несколько недель он меня настолько стал раздражать, да и как человек он мне на самом деле особо не нравился, с тех пор, то есть, как было покончено с забавным языком и культурными различиями.

Это, наверное, ужасно.

Но мне еще там, в кофейне, пришло в голову: хорошо бы всегда вот так избавляться от парней — легко, эффективно и безболезненно, а тяжелую работу пусть за тебя делает кто-нибудь другой.

* * *

Прошу у девушки за прилавком еще капуччино, только с двойным кофе — они теперь кофе недоливать стали, дают тебе такое пенистое горячее молоко со слабеньким кофейным привкусом, и всё, мне, пожалуй, больше нравилось, пока эти кофейни не появились повсюду, кофе тогда выглядел, как противная темно-коричневая жижа, зато в нем хоть вкус какой-то был.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Мисс Макколл взирала на Пфистера через окно его кабинета. Вид у нее был какой-то удивленный.

Под конец это стало действовать Пфистеру на нервы до такой степени, что он встал из-за стола и подошел к окну опустить пластмассовые жалюзи. Она все утро не сводила с него своего давящего, чуть ли не обвиняющего взгляда. Застывшее на ее лице выражение сообщало ей сходство с неким василиском, шутки ради изваянным в стиле постмодерн. Тем временем четырьмя этажами ниже шумно, с гиканьем и оглушительным хохотом резвились третьеклассники.

Даже сейчас, встав, чтобы потянуть за нейлоновый шнур, он заметил, как некоторые из них, обернувшись к нему, начали с издевательским ржанием показывать пальцами в сторону мисс Макколл. Один мальчишка, неплотно сложив пальцы в кулак, принялся быстро махать им вверх-вниз — Пфистеру этот жест был хорошо знаком. Сама по себе фамилия Пфистер звучала недостаточно непристойно и оскорбительно, поэтому среди 1700 учеников директор был из-

вестен под куда более простым и незатейливым прозвищем «дрочила».

Пфистер постучал в окно, и дети неторопливо разошлись, не переставая гоготать, а он остался стоять, уставившись на мисс Макколл, в свою очередь уставившуюся на него. Ну, что вылупилась, матушка, подумал он, хватит пялиться. Со вздохом опустив жалюзи, директор вернулся к своему большому сосновому письменному столу, заваленному многочисленными расписаниями, отчетами и докладными — со всем этим уже давно пора было разобраться.

Но работать он не мог — знал, что мисс Макколл по-прежнему пялится на него, несмотря на опущенные жалюзи.

Поерзав в кресле, он залез в верхний ящик стола и пересчитал мелочь в пластмассовой серой коробочке. Поковырял в зубах разогнутой скрепкой для бумаг, покончив таким образом с остатками съеденного второпях невкусного обеда. Затем снова взглянул на часы: 14:43. В очередной раз медленно, устало вздохнув, нажал на кнопку селектора.

— Дженни, где Дэрил Хейст?

Послышался треск статического заряда: это его секретарша в приемной по соседству возилась

с проводом.

— У него две физики подряд; сказал, что заскочит, как только освободится. Это было… м-м-м… сейчас посмотрю… в десять. Пойти мне, поторопить его?

— Да. По-моему, пять часов — срок вполне достаточный. Да и физика, честно говоря, мне кажется сомнительным предлогом. И вот еще что: пора бы кому-нибудь что-нибудь сделать с мисс Макколл. Она у меня уже в печенках сидит. Разберитесь, пожалуйста.

— Будет сделано, шеф.

Но прошло еще сорок пять минут, прежде чем селектор наконец возвестил о прибытии Дэрила Хейста. Почти одновременно — ибо вопросительного стука-предупреждения не последовало — дверь распахнулась, и в кабинет бесшумно вошел бритоголовый четвероклассник. Он остановился в нескольких ярдах от стола Пфистера с выражением неописуемой скуки на одутловатом, нездорового цвета лице. На его рубашке виднелись следы крови. Директор коротко вздохнул, вытащил из ящика голубой бланк объяснительной и снял колпачок с перьевой ручки, подаренной ему попечительским советом по случаю юбилея, в ознаменование пяти беспро-

светных лет на посту руководителя районной школы им. Даниеля Ортеги.

— Спасибо, что пришел, Дэрил. Садись, пожалуйста.

Голос Пфистера звучал ровно, в нем не слышалось ни фамильярных ноток, ни осуждения. Именно так их учили разговаривать в подобных ситуациях. Подросток с мрачным видом опустился в кресло и принялся теребить гигантский прыщ на лбу. Прыщ распух, покраснел, будто от злости, но еще не достиг той стадии спелости, на которой его можно было бы успешно изъять, не прихватив заодно и всю оставшуюся часть головы. Эта штука, должно быть, причиняет мальчику боль, мешает сосредоточиться.

Несколько мгновений Пфистер молча смотрел на него.

Наконец Дэрил Хейст завершил исследование своего лица и соизволил взглянуть на Пфистера в ответ.

— Ну че еще? — произнес он с некоторым нетерпением и усталостью в голосе.

Пфистер размышлял о том, как лучше начать разговор. По его жилам пробежала волна совершенно недопустимой в профессиональном смысле неприязни. Не следует давать волю эмо-

циям, мысленно поставил он себе на вид.

Однако на сей раз, подумал он, этот малолетний негодяй у меня действительно *получит*, мать его так. Вопрос только, как это сделать? В таких случаях всегда трудно принять правильное решение. К тому же многое будет определяться тональностью этой предварительной беседы. Прежде всего, решил Пфистер, постараемся соблюдать спокойствие и говорить начистоту.

— Дэрил, зачем ты убил мисс Макколл и водрузил ее голову на сорокафутовый шест?

Дэрил раздраженно щелкнул зубами.

— А я че, знаю? Наверно, постоянно испытывал ожесточенное неприятие и грубое отношение со стороны коллектива. Извиняюсь. Сколько раз повторять-то. Я, типа, это… раскаиваюсь.

С этими словами Дэрил взглянул на директора с неким подобием мерзкой полуулыбки на лице.

— А теперь я чувствую себя намного лучше, — добавил он, — и смогу продолжать обучение без дальнейшей угрозы для учеников и сотрудников.

Что выводило Пфистера из себя, так это подкованность Дэрила, то, насколько легко и гладко подобные фразы вылетали у него изо рта, вызубренные под руководством целой армии

психологов, полицейских инспекторов и сотрудников службы социальной поддержки. Особенно раздражало то обстоятельство, что в любой другой ситуации Дэрил двух слов связать не мог. Пфистер почти не глядя сделал пометку на голубом бланке.

— Дэрил, мне необходимо знать следующее, для протокола, — продолжил он, барабаня пальцами по объяснительной записке. — Подверглась ли мисс Макколл сексуальному насилию?

— А я че, знаю? Не помню я. Я в тот момент находился в состоянии депрессии.

— Послушай-ка. Я задаю этот вопрос, так как мне нужны все подробности дела. Но скоро расследование начнет полиция, будут проведены различные тесты, и тогда…

— Ну ладно, ладно, ладно, всё! Ну, трахнул я ее в задницу.

— До или после наступления смерти?

— Да блин, ну не помню я.

Он замер в раздумье.

— По-моему, когда она умирала.

Пфистер кивнул и снова что-то черкнул в своих бумагах.

— Значит, после того, как пырнул ее в самом начале, но до того, как обезглавил?

— Угу. Да. Ну, в общем, и то, и то.

— Хорошо. Так, а каким образом ты отделил ее голову от тела?

Дэрил сунул руку в карман пиджака, извлек оттуда длинный кухонный нож и швырнул его на стол.

— Вот этим вот.

Пфистер взглянул на орудие, кровь на котором еще не успела полностью засохнуть, и, не прикасаясь к нему, сделал краткую запись в бумагах.

«Большой нож, зазубренный по краю, с деревянной рукояткой, вероятно, предназначенный для резки хлеба», — написал он.

— И мисс Макколл была убита именно этим оружием?

— Ну да, а чем же еще. Я ей, правда, еще пару раз в рыло дал, когда она орать начала.

— Чем же, позволь спросить, было спровоцировано твое нападение?

— Да она, блин, меня постоянно доставала: это сделай, то сделай, а потом еще накинулась за то, что я Далгетти пырнул, ну, это меня просто вывело. Начал испытывать ожесточенное неприятие, гру…

— Далгетти? Ты его пырнул? Как его состояние?

Об этом относительно мелком происшествии директору не сообщили.

— Да нормально, я его на самом деле даже и не пырнул — так, шею порезал немного. Перевязанный ходит.

— Послушай, Дэрил. На этот раз тебя ждут большие неприятности. Я хочу сказать, тебе предстоит как минимум весьма подробное обследование у психиатра, а по его завершении, полагаю, перевод в другую школу.

Мальчишка наклонился вперед в кресле, сжав кулаки на коленях.

— Ну да, вот из-за такого говна всегда вот так, — проныл он. — Будешь тут испытывать ожесточенное неприятие и грубое отношение со стороны коллектива, когда тебе постоянно в морду тычут. Короче, я ж говорю: искренне раскаиваюсь в своем поступке. Серьезно.

— Да, я не сомневаюсь. Но это ведь уже не первый случай, не так ли?

— То есть в каком, блин, смысле?

— Ну, например, досадное устранение мистера Спаркса…

— Да пошел ты! Это не я, это Флобер из 4-го «Р». Ты че, вообще, придурок долбаный?

— Неужели? — Пфистер порылся в памяти,

которая в последнее время, надо признать, стала слегка сдавать. — Прости, пожалуйста. Не хотел тебя напрасно обвинять. Тысяча извинений. Но я уверен, Дэрил, — было ведь что-то еще, что-то неприятное. Ты не помнишь, что именно? У меня тут в деле наверняка записано. — Пфистер принялся рыться в ящике с папками.

Дэрил Хейст опять раздраженно щелкнул зубами.

— Ну, мистера Гибсона в прошлом году в лицо пырнул на уроке естествознания, так он же сам, блин, напросился, все так говорили, даже социальная служба, плюс еще они меня потом заставили пройти кучу всяких дурацких психтестов, хоть я понятно объяснил, что сожалею, раскаиваюсь и тому подобное, даже перед мистером Гибсоном готов был извиниться, только он, блин, из школы ушел, так что я не понял, сейчас-то чего об этом разговор заводить…

Ах да, вот оно что. Пфистер вспомнил. По рекомендации местного отдела образования и лично молодого честолюбивого заведующего, Дейва Шибболета, Дэрила не исключили из школы за то досадное происшествие. Аргументы против исключения, обеспечившие успех защиты, были просты, но сокрушительны. Доказано было, что

склонность Хейста к насилию распространялась только на учителя естествознания, мистера Гибсона; было также признано, что имевшая место определенная личная неприязнь — если не физическое насилие как таковое — являлась взаимной. Поскольку мистер Гибсон ушел из школы им. Ортеги по собственному желанию, лиц, для которых Дэрил мог бы представлять угрозу, в школе больше не осталось. Пфистер знал, что те же аргументы вполне можно было использовать и на этот раз. Серена Макколл мертва — а значит, больше не может пострадать от силовых приемов или, если на то пошло, амурных притязаний Дэрила.

Пфистер понимал, что важно не терять самообладания. Но с другой стороны, сколько можно терпеть это жуткое нахальство, это нытье, а главное — вопиющую несправедливость положения. Ему нравилась Серена Макколл, подающая надежды учительница, пользовавшаяся немалым авторитетом среди учащихся — или, по крайней мере, среди тех из них, у кого отсутствовала врожденная склонность к насилию и убийству. Она, конечно, заслуживала лучшей участи, чем уход из жизни при таких обстоятельствах: засунутый в зад юношеский член, насаженная на шест голова.

Пфистер твердо решил, что смерть Макколл должна повлечь за собой нечто более значительное, чем очередная серия психиатрических тестов и возможный перевод Хейста в школу с забором повыше на какие-нибудь несколько дюймов. Им обоим было хорошо известно, что дальнейшие события станут, вероятно, развиваться именно по такому сценарию. Осведомленность Дэрила во всем, что касается псевдоюридической стороны дела, плюс его заведомо тяжелые обстоятельства: происхождение, неблагополучная семья и трудное материальное положение — этого вполне достаточно, чтобы мера наказания (если общественность и потребует такового) оказалась предельно мягкой.

Но на этот раз ему от Пфистера не уйти; он свое получит, это точно. Засранец всем своим видом напрашивается на более суровое, чем обычно, порицание. Тупые, ничего не выражающие глаза, агрессивная, развязная походка, скука, сквозящая в каждом движении, неизменно жалобные, скулящие интонации, наглость, доведенная до рефлекса, четкая убежденность в том, что это он пострадавший, и при этом — полное бессердечие.

Не говоря уж, разумеется, о его склонности

убивать, калечить и насиловать сотрудников во время приступов агрессивного психоза. Расквитаться с мерзавцем, думал Пфистер. По-черному расквитаться. Да, именно такие слова пришли ему в голову — должно быть, не случайно, а по воле какого-то не менее мстительно настроенного божества, ибо, пока он повторял их про себя, у него внезапно прорезалась одна мысль.

Секунду-другую Пфистер размышлял над возникшей идеей. План непростой, думал он, но может сработать. Не торопиться, думал он, тянуть время, постараться расположить его к себе, усыпить бдительность и только тогда закинуть удочку. И может быть, может быть…

Он откинулся в кресле и отложил в сторону ручку.

— Да, подвели мы тебя, Дэрил, подвели.

Парень ответил подозрительным взглядом.

— В каком смысле?

— Ну как же: ты уйдешь от нас, так и не получив практически никаких знаний. У тебя постоянно были трудности с тех самых пор, как ты сюда поступил. Нелегко тебе здесь пришлось.

— Ну да, я это, привык уже, — пробормотал Дэрил. Жалость к самому себе так и сочилась из него, словно гной. — И дома, блин, тоже плохо

было — папаша свалил на хрен.

— Я понимаю, Дэрил, я все понимаю. Но чем же мы еще могли тебе помочь? Что мы могли для тебя сделать?

— Че-че, непонятно, что ли? Кончали бы наезжать, а то достали уже: то одно, то другое.

— Да, я понимаю. Все правила, правила, да?

— Ну да, правила дурацкие. Никто ж не понимает, мне-то каково.

— Извини, Дэрил. Ясно, что нам следовало с самого начала немножко больше к тебе прислушиваться. Мы с тобой видимся, только когда у тебя неприятности — разве это дело? Тут наша школа страшно виновата. У нас же нет никакой возможности общаться по-человечески!

Дэрил медленно кивнул.

— Если б я мог с кем-нибудь про это поговорить, не знаю, может, ничего такого и не случилось бы. То есть я про вот эти вот дела, когда меня ну просто выводят…

— Я понимаю, понимаю. Теперь мне все ясно. Но хоть что-нибудь тебе здесь, у нас в школе, понравилось?

Хейст секунду подумал, откинувшись в кресле.

— Да вроде нет.

— А спорт?

— Не-а. То есть футбол еще ниче так. Работа по дереву, в общем, нравилась, вот только мистер Маршалл — такой пидор.

— Да, Дэрил. Самый настоящий пидор.

Мальчишка взорвался от хохота.

— Ага! Про учителя сказал — пидор! Ха-ха-ха-ха-ха! Так же не говорят!

— Пидор! Пидор! Пидор! Пидор! Пидор! Пидор! Пидор! Мистер Маршалл — пидор первый сорт! — проорал Пфистер.

От восторга Дэрил заскулил, потом тоненько заржал.

— Вот видишь, Дэрил, наши взгляды, похоже, во многом совпадают. Взять мистера Дагена — козел или как?

— *Точно*, блин, козел, настоящий, блин, пидор.

— А мистер Вэчери — про него что ты скажешь?

— Пидор!

— Да, и к детишкам, наверное, пристает.

Дэрил снова забился в конвульсиях; лицо его сияло счастьем.

Загудел сигнал селектора — это была Дженни.

— У вас там все нормально, сэр?

— Да, Дженни, спасибо, все прекрасно.

Не обратив внимания на это вмешательство,

Дэрил подался вперед и, словно задумав тайный ход, произнес:

— А знаете, кого я больше всего ненавижу?

— Кого, Дэрил?

— Жиллетта. Как свинья, блин, здоровый такой, жирный, потный. И пидор. И вообще придурок.

— Ты знаешь, Дэрил, тут я с тобой, пожалуй, соглашусь.

Мальчишка ухмыльнулся.

— Послушай, Дэрил, — сказал Пфистер, убирая в ящик голубой бланк, — давай не будем больше об этом деле, а?

— Да, сэр!

— С полицией, боюсь, побеседовать придется. Но в следующий раз давай-ка мы с тобой лучше обсудим, кого еще из моих сотрудников следует считать самыми настоящими пидорами — идет?

— Конечно, сэр, без проблем. У меня их, блин, целый список здоровенный!

— Не сомневаюсь. Ну что ж, а теперь иди-ка обратно в класс. Встретимся как-нибудь еще, при более приятных обстоятельствах.

Счастливо улыбаясь, Дэрил поднялся со стула.

— Хорошо, сэр. Пойду, что ли, правда. У меня сейчас французский, два урока у этой вшивой лягушатницы — ну, у *шлюхи* этой, мисс Шевенман.

— Ха-ха-ха! Вот уж действительно дура несчастная! Да, и последнее, пока ты не ушел…

Пфистеру удалось закинуть крючок с наживкой. Это оказалось не так уж и сложно — совсем не сложно, по правде говоря.

— Что, сэр?

По-дружески легко, словно это не имело никакого значения и даже как будто заранее соглашаясь с любым возможным ответом, Пфистер спросил:

— А все-таки, чем тебе мисс Макколл не угодила?

По-прежнему широко улыбаясь, Дэрил не смог удержаться от ответа:

— Я ж говорил. Она меня, блин, доставала постоянно. И…

— И?..

— Ну, блин, ну не перевариваю я сволочь черножопую…

И тут он, вспомнив правила игры и внезапно сообразив, что нарушил их, пусть на очень короткий срок, но очень и очень недвусмысленно, замер на месте.

В ничего не выражающих глазах впервые промелькнуло выражение настоящей паники.

А Пфистер, почувствовав, как напряжение во всем теле отпустило, позволил себе некое при-

зрачное подобие милой улыбки.

— Ах, Дэрил, Дэрил, Дэрил… — обратился он к дрожащему ученику. — Я думаю, тебе лучше снова присесть. Полагаю, нам нужно обсудить одно очень важное дело.

И вынул из ящика другой бланк — на этот раз красный, а не голубой.

ПОТЕРЯННАЯ ЧЕСТЬ ЭНГИНА ХАССАНА

Целое утро Энгин Хассан мучается над заковыристой задачкой. Можно ли занимать полосу для общественного транспорта по дороге в еврейскую картинную галерею — рассадник сионизма, который он собирается взорвать вместе с прилегающей пивной, — размышляет он. Или вреда от этого будет больше, чем пользы? Даже сейчас, стоя на светофоре, блестя пленкой испарины и нервно барабаня руками по рулю, он не может определиться. С одной стороны, он скорее попадет на небо, это несомненно. Может, даже удастся успеть к галерее в назначенный срок — важный момент, ибо толпа очень быстро поредеет, когда пройдет обеденный час пик. С другой стороны, нарушая правила, он рискует попасться на глаза полиции, что может поставить успех всей операции под серьезную угрозу. Как поступил бы Тарик? Э-э, в том-то и сложность: Тарика здесь нет. Теперь он один.

Во время вчерашней репетиции он проехал весь путь по правилам, но по каким-то необъясни-

мым причинам дорога была намного свободнее. В этом городе не поймешь, чего ожидать от движения, думает он. Непредсказуемо, как английская погода.

Радио в машине настроено на популярную музыкальную программу. Внимание Энгина постепенно рассеивается, он начинает подтягивать Ронану Китингу, весело, хоть и слегка фальшивя: «Жизнь — американские горки, садись и поезжай». Такое мировоззрение Энгин целиком разделяет.

Светофор переключается, машины впереди трогаются с места со скоростью около трех миль в час. Энгину видно препятствие: грузовик, везущий товар в супермаркет, перегородил внешние ряды — похоже, занесло при попытке резко повернуть налево. Ворча, он выруливает влево, на запрещенную часть, и газует. Шло бы оно все, говорит он самому себе. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Аллах, разумеется, не взыщет за столь мелкое правонарушение, к тому же совершенное во имя такой высокой цели. Законы дорожного движения — дело рук человеческих, разве нет? Ведь в Коране, не дай соврать, ничего не сказано про полосу для общественного транспорта, продолжает он свой внутренний

разговор.

Энгин разгоняется по широкому центральному бульвару — и вот, наконец, он у цели! Впереди, за чередой дорогих магазинов, виднеется ресторан при галерее — до него, должно быть, не больше мили. Он явно принял мудрое решение: успеет нанести удар в назначенный час. И потом, по центральной части поток движется так медленно: непонятно, как ему вообще удалось бы набрать скорость, достаточную, чтобы протаранить двери и проскочить через вестибюль к входу в основное помещение галереи. На этом они особенно настаивали. Ресторан находится на втором этаже, в застекленном зале в глубине здания, на приличном расстоянии от фасада. Нет смысла взрывать ко всем чертям один вестибюль. Жертв среди этих свиней, этих грязных еврейских преступников, будет до обидного мало.

Осталось триста ярдов. Ведя машину одной рукой, он открывает бардачок, вынимает маленький, тускло отливающий черным металлический детонатор и кладет его на колени. Модель новая, детонатор чешского производства, радиус действия 5,5 миль. Но на этот раз на полную мощность он опробован не будет. Пластиковая взрывчатка лежит надежно упакованная в багаж-

нике, примерно в 5,5 футах от Энгина. Никакой промашки тут быть не может!

Какая слава ожидает его там, по ту сторону этого непристойного американо-сионистского шабаша, вакханалии светлого дерева и отделанного под старину металла! Для начала семьдесят две девственницы. Подумать только: зарыться лицом в шелковистые, незапятнанные прелести девы небесной! Тут он хмурится. Хочется надеяться, что девственницами они остались в результате собственной скромности, близости к Господу и самоограничения. А не потому, что никому до него не хотелось их от этой девственности избавить. По справедливости за все его старания девственницы ему должны достаться вполне приличные. Семьдесят две девственницы, немного похожие на Касси, маленькую симпатичную девушку-индианку, работающую в местной химчистке, — это было бы в самый раз, благодарение Аллаху.

Однако, кроме всего прочего, вызывает тревогу это мистическое число, семьдесят два. Здесь, внизу, на земле, оно, может, и кажется большим — но чтобы этого хватило на бесконечность? Использует их всех, а потом что? А может, просто всякий раз, как он пожелает проявить свою мужскую

сущность, Аллах обеспечит поступление целого нового отряда семидесяти двух девственниц, из которых можно будет выбирать. Это было бы куда приятнее и избавило бы его от необходимости растягивать рацион девственниц на нескончаемые тысячелетия. А если дело *действительно* так обстоит, можно ли ему тогда иметь сразу двух? Или трех? Или семьдесят двух?

Проблема в том, что ничего такого ему подробно не объясняли, а спрашивать не хотелось, чтобы не показаться надоедливым, да и в любом случае с Тариком на эту тему не поговоришь — тот подчас бывает жутко нетерпелив и суров.

Ну что ж, скоро он все узнает.

Сто ярдов. Он замечает, что сердце бьется немного учащенно и, несмотря на кондиционер, рубашка набухает потом. Придется слегка вывернуть в правый ряд, чтобы получше направить удар, добиться правильного угла столкновения с входной дверью галереи, но это ничего, впереди как раз есть немного места между двумя еле ползущими машинами…

За пятьдесят ярдов он произносит суру из Корана, делает глубокий вдох и, резко бросив машину вправо, жмет на газ.

Др-др-др-др-ру-у-у-у-у-у-у-м-м-м-м!

Позволительно ли засунуть средний палец деве небесной в зад? Он отнюдь не уверен в этом. Ему очень хотелось бы, однако он подозревает, что там, наверху, под взором Аллаха этот номер, видимо, не пройдет.

Но, к сожалению, на глубокое осмысление данного вопроса времени сейчас нет.

Он гудком разгоняет пешеходов и бросается обратно влево, неуловимым рывком въезжает на тротуар и разбивает входную дверь галереи почти точным лобовым ударом. Позиция выбрана идеально! Опоры светлого дерева разломаны надвое, в воздухе свистят, как лезвие косы, смертоносные осколки стекла. Он видит, словно в тумане, всех этих кричащих вокруг людей, но движется дальше, смяв стальной край конторки и вышвырнув оттуда вахтершу. Та пролетает над машиной и оказывается позади него; лицо неверной шлюхи растянуто в гримасе непонимания и ужаса. Врезав по тормозам и юзом проехав последние сорок ярдов, он с негромким хрустом вписывается в открытую бетонную стену, обозначающую вход в саму галерею. Ему видно, как наверху, на балконе пивной, обедающие в переполохе ныряют под сиденья в поисках укрытия, — но нет, ребята, думает он, извините, не попёрло вам, поздно теперь

прятаться. Машина стоит в точности там, где ему было велено остановиться.

После краткого излияния благодарности Господу он крепко зажмуривает глаза и нажимает на красную кнопку в середке детонатора.

Какой смысл глаза было закрывать, думает он.

А затем думает: как же это у него получается — думать, какой смысл глаза было закрывать.

— Десять минут, мистер Хассан!

Рявкающий голос распорядителя за дверью вытряхивает Энгина из крайне беспокойного забытья. О Господи, суетится он, быстро запихивая в рот китайский блинчик с подноса с закусками, доставленного в его гримерную, кажется, всего несколько секунд назад. Он что, заснул? Осталось десять минут, а он еще не гримировался. И даже притронуться не успел ни к креветочным слойкам, ни к экзотическим фруктам в большой вазе, ни к прохладительным напиткам в ассортименте, которыми его здесь любезно потчуют. Времени ни на что теперь не хватает, мысленно рассуждает он. Все торопишься, торопишься, и так каждый божий день.

Но до чего мил был сегодня Парки: заглянул к нему в комнату поздороваться. Не каждый телеведущий найдет время познакомиться с гостями

программы перед началом. А ведь Парки самый знаменитый среди них всех.

— А, Энгин, здравствуйте, — сказал Парки, просунув голову в дверь. — Как тут у вас с обслуживанием, все на высшем уровне?

Да-да, мистер Паркинсон, все замечательно, взахлеб залепетал Энгин, а вслед за тем, стремясь завязать беседу, спросил, как зовут остальных гостей программы — хоть и знал, кто они, главным образом потому, что их гримерные располагались по соседству.

Парки просветил его, временами приправляя рассказ мрачноватой йоркширской иронией. Какой приятный человек! Лучшие ведущие ток-шоу обладают способностью разговорить тебя до полного расслабления еще до того, как ты примешься за дело, моргая в свете софитов. Эта невежественная свинья, Фрэнк Скиннер, даже руки не пожал и не попрощался по окончании — да и само интервью было пустой тратой времени, так, подпевки к невеселому попурри скиннеровских шуток, плоских, ребячливых. Зачем тогда вообще было его приглашать? Посадили бы в кресло картонную куклу в форме Энгина Хассана, а Фрэнк пускай бы шутил себе, как ни в чем не бывало.

Вздохнув и поднявшись на ноги, Энгин хватает банку «Спрайта» из ведерка со льдом, проверяет, все ли у него с собой, разглаживает на фигуре пиджак «Босс» и направляется к двери, гримироваться.

По коридору взад-вперед лихорадочно носятся продюсеры, авторы программ и распорядители, охваченные, как водится на телевидении, бессмысленной паникой. Шоу уже началось: снимают беседу Парки с первой участницей, женщиной, страдающей болезнью Дауна, которую, тем не менее, избрали кандидатом в члены парламента от консерваторов Моул-Вэлли (есть, оказывается, и такое место). Энгин поздоровался с ней, когда бедняжка, трогательно дрожа, стояла в фойе, не вполне понимая, что она здесь делает.

Гримерша-то и вправду очень привлекательная, думает Энгин, с хлюпаньем потягивая свою сладкую водичку. Она — еще одно воплощение его былых грез о девственницах Аллаха в те дни, когда он все пытался кого-нибудь подорвать: волосы цвета бронзы долгим каскадом струятся вниз по спине, подвижный рот — обалдеть можно. Усадив его в кресло, она оборачивает простыню вокруг его шеи.

— Так вы, значит, впервые на телевидении,

мистер Хассан?

Энгин снисходительно смеется.

— Нет-нет — совсем наоборот. Последнее время я постоянно на телевидении — сам не знаю, почему, хе-хе-хе. Непонятно, с какой это стати людям хочется послушать, что я рассказываю. Прямо какой-то ветеран сцены!

Женщина легонько касается лица Энгина ваткой с темно-коричневым тональным кремом.

— Как интересно! — щебечет она. — Так где, значит, вас последний раз показывали?

Энгину приходится на мгновение задуматься. Со временем все эти шоу как будто сливаются в одно.

— Э-э-э… «Слабое звено: звездный выпуск»… или «Твоя жизнь» — не помню что-то.

— О, так я же вроде «Слабое звено» видела. Интересно было?

По правде говоря, «Слабое звено» ему совершенно не понравилось: там еще эта жуткая грубиянка задавала вопросы, ответить на которые у него не было ни малейшего проблеска надежды. Его в тот раз выкинули первым из участников. Откуда, черт побери, ему знать, кто был братом Гамлета? Нет бы спросить о чем-нибудь из славных анналов исламской литературы! Эти телевикторины…

все они предвзятые в культурном плане. А вот «Твоя жизнь» прошла замечательно, у него прямо комок к горлу подступил, когда ему представили древнюю, но все еще бодрую миссис Бадареев, соседку, чьи нескончаемые поручения он выполнял в детстве. Они тогда жили у пыльных берегов озера Ван. Когда ее вызвали на сцену, он за голову схватился — искренне не мог в это поверить, аж дыхание сперло. И тут старая дура вышла и все испортила, сказав через переводчика (голос у этой деревенщины напоминал карканье от душившей ее мокроты):

— Мы все еще тогда друг другу говорили: ну, что с Энтина взять, с дурачка этакого. Бывало, стоит ему появиться, так мы все посмеиваемся, мол, никакого толку не выйдет из этого толстяка, уж поверьте, никакого толку.

Как смеялись зрители! И как противно было, когда потом, после этого злобного клеветнического выступления, пришлось обнимать коварную старую каргу на глазах у миллионов людей. Невежественная, неблагодарная ведьма!

И все-таки народ на телевидении работал неплохо; в какой-то момент Энгин даже забеспокоился, что они могут выйти на видеосвязь с Тариком, сидящим в пещере где-нибудь в горах

Гинду-Куша. Он нервно потел и косился на экран каждый раз, когда ведущий кого-нибудь игриво представлял. Для этих умников с телевидения, кажется, нет ничего невозможного, если что задумали — сделают. Все как будто готовы плясать под их дудку.

— В «Слабом звене»? А, да, — говорит он девушке-гримерше, — очень интересно было! Эта Энн Робинсон, Бог ты мой! Такая серьезная дама!

Пока она пудрит ему лоб, он спрашивает, стараясь снискать ее расположение:

— Так это вы гримировали небезызвестного мистера Робби Уильямса?

Робби — главный приглашенный участник, звезда шоу, настоящая достопримечательность. За воротами телестудии собралось тысячи две девочек-подростков, все визжат, описаться готовы от восторга. Входя в здание, он заметил, как мордашки у них разочарованно скривились: конечно, это ведь он, Энгин, а не их идол, появился из черного «Мерседеса». У Робби хватило воспитанности поздороваться с Энгином сразу по прибытии. Если точнее, он дружелюбно, со своей знаменитой обезьяньей усмешкой произнес: «Здорово, дружище, как дела?» — и скрылся в своей гримерной, размером изрядно побольше.

— Да! Он такой *милашка,* — говорит неверная шлюха-гримерша. — Ну, знаете, ни чуточки не задается. Все трепался со мной, прямо будто я ему, ну, как лучшая подружка!

— Весьма талантливый эстрадник, это факт, — подтверждает Энгин и начинает напевать: «Это он-на-а-а».

— А вы знаете, — спрашивает он гримершу, — что песня «Это она» была написана о принцессе Диане?

— О-о-о-о, да что вы, не может быть. А я думала, это о бывшей девушке Робби. Ну, знаете, симпатичная такая, она еще аборт сделала.

— Нет-нет. Ее написал человек по имени Карл Уоллингер…

Но времени объяснять у него нет, так как распорядитель, тяжело дыша и в страшной панике, вернулся сообщить Энгину, что ему *срочно* нужно в студию.

Снабженный миниатюрным микрофоном, он терпеливо ждет за кулисами, за толстым синим занавесом, а рядом стоит студийный менеджер, готовый подать ему сигнал к выходу. Но Парки никак не может закруглиться с женщиной, страдающей болезнью Дауна, — она, кажется, не хочет уходить. Все продюсеры озабоченно пере-

глядываются друг с дружкой. Наконец ассистент самолично вытаскивает ее из кресла — камеры в этот момент скромно отворачиваются. После этого Парки расслабляется, без запинки благодарит и начинает готовить почву для появления Энгина.

Сколько программ у него, Энгина, за плечами? Бог ты мой, должно быть, около сотни. Не совсем так представлялось ему будущее, когда охранник выпихнул его за ворота Белмаршской тюрьмы со словами: ну че, урод безмозглый, давай, блин, домой вали (что в общем-то приятно было услышать). Если бы ему и пришло тогда в голову среди прочих вариантов, что им могут заинтересоваться СМИ, то разве что только в качестве эксперта по терроризму, подготовленного специалиста, который может сообщить, кто какой теракт пытался организовать и почему и каково было состояние их мыслей в ходе операции. Но нет, это их совершенно не волновало. Да и с чего бы, подумайте сами, им этим интересоваться? Он, фактически, доказал, что во всем мире нет человека, хуже него подходившего для такой роли — рассказывать об успешных терактах.

Нет, им от него нужно было качество, суть которого наиболее емко и точно сформулировал тот самый тюремный охранник: урод безмозглый.

Безмозглый урод в полном смысле слова. Данное состояние безмозглого уродства несомненно являлось — впрочем, к немалому удивлению Энгина — ценным товаром в глазах телевизионной братии. «Народ хлебом не корми, дай поглядеть на неудачников, — говорил его ухмыляющийся агент, мистер Стернберг. — Достаточно провалиться у них на глазах, не переставая при этом радостно улыбаться, — и тебя будут обожать все и каждый, поверь мне». Ох, если бы только можно было это втолковать паре его сегодняшних утренних посетителей! Кому он мешает, ну кому?

Сейчас все равно не до того; ну вот, начинается. Подготовься, Энгин! Соберись, не забудь про важную, специальную телепоходку и постарайся не споткнуться о собственные ноги, как тогда у Джонатана Росса. Теперь глубокий-глубокий вдох… пора!

Все у него с собой? Секунду он пребывает в потной неуверенности… но теперь все равно поздно — Парки уже закончил свое вступление словами «Леди и джентльмены… а теперь давайте тепло поприветствуем Энгина Хассана… нашего безмозглого террориста!»

Аудитория, следуя указаниям студийного менеджера, взрывается, вступает популярная мелодия,

и Энгин, приклеив к своей толстой физиономии приличествующую случаю скромную, самоуничижительную улыбку, выходит на первый план перед камерами.

Вслед за тем Энгин медленно открывает глаза. Никаких девственниц нигде не видно. Он по-прежнему в машине, вокруг обломки, люди кричат, перед ним — большая белая стена. На рай непохоже. Скорее похоже на то, что он все еще здесь, в рассаднике сионизма — еврейской галерее.

Он опускает взгляд: на коленях у него лежит черный металлический детонатор. После всех уверений Тарика и эксперта по огнестрельному оружию — зловещего вида суданца, как его там, Ибрагима — в это трудно поверить, но прибор, кажется, не сработал. Энгин зажмуривает глаза и снова жмет на красную кнопку, на этот раз с чуть меньшим религиозным пылом.

Ничего! Совсем ничего!

Он что, не так что-то сделал? Батарейки сели?

Он опять нажимает на кнопку, на сей раз с открытыми глазами.

И опять, и опять, и опять.

По-прежнему ничего! О Господи, ведь не мог же он снова все напутать?!

До Энгина доносится негромкое постукивание со стороны окна. Осмотревшись по сторонам, он видит — Бог ты мой, этого только не хватало — еврея из этих, особенных, в большой черной шляпе викторианской эпохи и с длинными курчавыми бакенбардами.

— У-х-х. — Энгин с искаженным лицом снова вовсю барабанит по красной кнопке.

— Все в порядке, сэр? — спрашивает еврей.

Энгин с отвращением швыряет детонатор на пол и опускает стекло.

— По-моему, у меня детонатор сломался, — говорит он, не найдя другого подходящего объяснения досадной заминке.

— А, понятно. Вы-таки *действительно* террорист-самоубийца, — говорит еврей.

Крики между тем прекратились, к машине стекаются другие люди.

— Можно взглянуть?

— Что? — не понимает Энгин.

— На детонатор можно взглянуть? Может, мне удастся починить. Имею небольшой опыт в микроэлектронике.

— Э-э-э… конечно… — Энгин протягивает ему черную коробочку. Еврей вынимает крохотную отвертку из кармана своего черного пальто с

фалдами и, поковырявшись ею в приборе минуту-другую, возвращает его.

— Попробуйте еще, — предлагает он.

Энгин еще раз нажимает на красную кнопочку, замечая при этом, как еврей зажимает уши ладонями. Какой смысл, осел ты эдакий, думает Энгин.

Но, как и прежде, ничего не происходит.

Белая женщина, относительно молодая, стоит у машины рядом с евреем, отряхиваясь от пыли и крошечных кусочков разбитого стекла с фасада галереи. Небольшая деревянная щепка застряла у нее в длинных волосах, на лбу царапина. Еврей вкратце объясняет ей, в чем проблема.

— Бог ты мой, — говорит она. — Ну и дела.

— Да, — грустно вторит ей Энгин. — Кое-кто мной будет очень недоволен.

— Еще бы, надо думать. Вы уверены, что проблема не в самой взрывчатке? — спрашивает она.

Секунду подумав, Энгин качает головой.

— Нет, даже на секунду не могу ничего такого допустить. Все материалы высококачественные.

Женщина кивает.

— А вы точно все положили?

В воспаленном мозгу Энгина внезапно прокле-вывается жуткий росток сомнения.

— Э-э-э… да, по-моему, да, — говорит он.

— Еде же оно тогда?

— В багажнике, в пергаментную бумагу завернуто.

— Может, взглянем? — Молодая женщина не отстает.

— Разумное предложение на данном этапе, — замечает еврей.

— Угу, соглашается Энгин, отстегивая ремень и открывая дверцу машины. — Можно, почему нет.

Они вместе обходят машину сзади. Пока Энгин возится с ключами, как водится, тщетно пытаясь найти подходящий к багажнику, к ним подтягивается еще парочка зевак. Надо бы его пометить кусочком изоленты, что ли, думает он, а вслед за тем слышит свой внутренний голос: пожалуйста, ну пожалуйста, лишь бы не оказалось, что я забыл положить этот проклятый «Семтекс».

Да нет же, он точно помнит, как укладывал взрывчатку. Пришлось для надежности заклинить ее с помощью запаски, чтобы держалась на месте — довольно кропотливая работа.

Победным жестом Энгин демонстрирует прибывающей публике нужный ключ.

— Ага, наконец-то! Нашел! — произносит он и

отпирает багажник.

И конечно же, рядом с запаской лежит прямоугольный сверток в серой пергаментной бумаге.

— Вот! — восклицает Энгин. — Я же знал, что положил.

Тем не менее у молодой женщины, похоже, имеются сомнения, которыми она делится с другими:

— На мой взгляд, что-то маловат для бомбы.

— Уверяю вас, барыш… — Энгин внезапно замолкает, увидев, как еврей, склонившись над открытым багажником, сосредоточенно обнюхивает его содержимое.

— Простите, сэр, вам помочь? — обращается к нему Энгин, слегка оскорбленный этим не слишком вежливым поведением.

— Я извиняюсь, но, по-моему, это не пахнет взрывчаткой…

— Правда? Чем же тогда оно пахнет?

Задрав нос повыше, еврей говорит:

— Пахнет рыбой. Возможно, ставрида, а может, даже морской петух — трудно сказать.

Сглотнув слюну, Энгин закрывает глаза от мучительной боли. Нет, пожалуйста, думает он, только не это.

— Я думаю, вам следует заглянуть внутрь, —

продолжает приставать довольно настырная молодая женщина, обмениваясь понимающими взглядами с евреем.

Энгин со вздохом вынимает маленький карманный ножик и начинает кромсать им веревку, которой перевязан сверток. Он разворачивает пергаментную бумагу, затем разрывает пластиковый пакет внутри. У него не хватает сил на то, чтобы адекватным образом выразить свое смятение. Публика, как один человек, восклицает: «Ого!»

— Так вот в чем у тебя проблема!

— Да, много шума от этого не будет, это точно!

— Положил бы ее на радиатор на пару дней, мы бы все тут от вони задохнулись, ха-ха-ха!

Но Энгин, рухнув на колени, раскачивается из стороны в сторону, схватившись за голову.

— Что я наделал, что я наделал, что я наделал! — причитает он.

— Что? Вы предприняли попытку превратить нас всех в пар с помощью фунта рыбы, сэр, — вот что.

Тут все затихают, поскольку Энгин по-прежнему стоит на коленях, всхлипывая и покачиваясь. Толпа смущенно переминается с ноги на ногу.

— Как же это произошло? — спрашивает мо-

лодая женщина тоном, который вполне может сойти за обвинительный.

Вспомнив, Энгин продолжает безутешно реветь.

— Сегодня с утра пораньше, — объясняет он размокшим от слез голосом, — обещал миссис Азиз палтуса для нее захватить у рыбника. Мы с ней на вечере культуры исламского джихада познакомились, несколько месяцев назад. Она в четырех кварталах от меня живет, на улицу теперь не так часто выходит. Наверное, это у нее ишиас. Ей уже под восемьдесят, понимаете, но рыбки поесть любит. Я сказал, что принесу ей палтуса, — ну и, ясное дело, — рыдает он, — вышло все по-глупому. Не надо было обещать, я ж и так по уши в этих делах был, бомба и все такое.

Вокруг раздается «Угу» и «Ах ты, господи».

— Что ж, — замечает еврей, — если это палтус миссис Азиз, то где же тогда ваша взрывчатка?

Снова наступает пауза, задумчивая и довольно неприятная. Энгин говорит очень-очень тихо:

— Наверное, я ее у двери миссис Азиз оставил.

— Ох! — восклицает молодая женщина.

— Тц-тц-тц. Плохие новости, ой, плохие, — говорит еврей.

— Да, — соглашается Энгин. — Новости просто

ужасные. Бедная, бедная миссис Азиз. Она-то в чем виновата?

— Зато нам крупно повезло, я считаю, — какой-то парень из обступившей машину толпы вылезает сзади с бездумным заявлением.

Ему никто не отвечает. Все воспринимают эту ремарку с подобающим презрением.

Затем настырная молодая женщина, трубкой приложив ладонь к уху, сообщает:

— Ага, еще неприятности. Похоже, полиция едет.

И действительно, в отдалении раздаются звуки сирен — жужжание роя осатаневших от злобы неверных. Что делать?

Энгин нетвердо поднимается на ноги и вытирает глаза тыльной стороной ладони.

— Бог ты мой, ну да, полиция. Я и забыл о них совсем, — говорит он. — Ну, я побегу, если вы не против…

Без дальнейших проволочек он пулей выскакивает из-за развалившейся конторки, перепрыгивает через тело вахтерши, огибает загромоздившие вход обломки и, вырвавшись на улицу, бежит, похожий на толстого, довольно неуклюжего зайца-беляка.

— Эй! Эй! — кричит еврей. — Вернитесь! А как

же рыба?

Буль-буль-буль-буль-буль: Энгин лежит в теплой, застоявшейся ванне в лондонском отеле «Кенсингтон Хилтон». Расслабленный, но скучающий, он не находит лучшего занятия, чем, держа рот вровень с поверхностью грязноватой, пенистой воды, выдувать пузырь за пузырем. Снова и снова: буль-буль. Вот здорово, такая роскошь. Такой роскоши он точно до сих пор не видел. В этом отеле есть все что угодно, все наготове, стоит только щелкнуть выключателем или дать отрывистый приказ по телефону. В холле даже шлюхи ошивались. Настоящие шлюхи, профессионалки, не какие-нибудь тебе обыкновенные неверные шлюхи — женщины, которых на Западе полно. Если бы захотел, они тоже были бы его. Уж им-то наверняка средний палец в зад засунуть можно без проблем.

А-а-а-а-х, до чего приятно, когда все делается для тебя, думает он, болтая в воде пухлой рукой. В жизни Энгина так было не всегда. И Белмаршская тюрьма — еще не самый худший из примеров его жизненного опыта. Пожалуй, хуже всего было все-таки в Чечне, мрачно размышляет он. Еще одно безнадежно запоротое дело. Он тут же запрещает себе думать о своем ужасном пребывании

в Грозном. Подумай лучше о радостях жизни, Энгин, безмолвно уговаривает он себя.

Бам-бам, раздается резкий стук в дверь номера.

— Обслуживание в номер заказывали, мистер Хассан?

Обслуживание в номер, подумать только!

Энгин выбирается из своего мутного болота, отряхивается, оборачивает огромное банное полотенце вокруг раздавшегося пуза и открывает дверь в коридор. К сожалению, ему на голову спереди тут же обрушивается тупой тяжелый удар, от которого подкашиваются ноги. Две пары сильных рук хватают его за плечи, за шею и за ноги. Он чувствует, как его раскачивают в воздухе вперед-назад, вперед-назад, как будто с помощью такого пускового устройства для ракет класса земля-воздух. С неясным приглушенным хлопком он приземляется вниз лицом на кровать.

— Оставаться на месте, лицом вниз. Не двигаться, — произносит тонкий противный голос с пакистанским акцентом.

— Н-н-н-ы-ы-ы, — стонет Энгин.

Позади него раздается другой голос. Этот голос он узнал бы где угодно. Честно говоря, ему сейчас не очень приятно его слышать.

— Энгин, ты обслуживание в номер заказы-

вал? — спрашивает голос.

— У-у-у-н-н-н, — стонет он. — Нет.

— Тогда почему ожидал, что к тебе придут?

Секунду подумав над вопросом, Энгин выдает:

— Э-э-э, я думал, может, они сами решили мне принести чего-нибудь.

— Ох, Энгин, Энгин. — Голос вздыхает. — Ты все такой же, настоящий урод безмозглый, да?

— Да… — Подушка заглушает его ответ. — Я так думаю, что да, Тарик.

— Теперь можешь сесть, Энгин.

В голове у Энгина с бешеной силой пульсирует кровь. С большим трудом поднявшись и развернувшись, отчего банное полотенце на нем распахивается, он принимает неудобную, полусидячую, полуоткинувшуюся позу и оказывается лицом к лицу с нападавшими.

А-а-а-х, Тарик. Давненько не виделись! На лице его бывшего хозяина чуть прибавилось морщин, волосы немного поредели, но он все так же хорош собой, так же представителен и действует на нервы не меньше, чем в былые времена. И все-таки даже он меркнет в сравнении с человеком, сидящим рядом: из-под тюрбана льется мерцающее свечение; экстравагантного вида седая борода спускается заметно ниже пояса; тра-

дицонное пешварское платье серого цвета — в таком задохнуться можно; в маленьких черных глазках, похожих на крохотные шарики из дешевого антрацита, импортированного из Польши, ни тени юмора.

— Еще раз здравствуй, Энгин. — Тарик разговаривает довольно дружелюбно. — Разреши представить тебе моего друга и коллегу, доктора Абу Афшин аль Анвар Магомета, профессора прикладной литературной коранщины из Исламабадского центрального политехнического института — и, разумеется, брата по борьбе, нашей славной и нескончаемой борьбе.

— Э-э-э, — говорит Энгин. — Enchanté[28].

Доктор Абу Афшин аль Анвар Магомет не отвечает на приветствие. Он абсолютно неподвижно сидит на стуле, плотно сжав тонкие губы в неприязненную гримасу.

Хлопнув в ладоши, Энгин улыбается им обоим.

— Ну как, — говорит он, — выпьете чего-нибудь?

Хотелось бы подчеркнуть здесь, что данная история не ставит своей целью проведение параллелей между участием в дурацких телепе-

---

[28] Примечания: 28
Enchanté — очень приятно *(фр.)*.

редачах и организацией терактов, направленных против невинных людей. Это всего лишь история отдельно взятого идиота. Возможно, убивать людей с помощью мощных взрывчатых веществ и достойно выступать, скажем, в «Шоу Джонни Вона» — занятия, требующие одинаково низкого уровня интеллектуальных способностей. Возможно также, что для обоих актов необходима некая хорошо отработанная бойкость. Но, честно говоря, материала для сравнительного анализа тут негусто. Положим, можно сказать, что толстый коротышка Энгин питает некую склонность к деятельности, приносящей немедленное удовлетворение и своего рода восхищение окружающих. Да и мысль о том, что в нашем обществе нет ничего, что нельзя было бы приспособить к использованию в развлекательных целях, вероятно, не лишена оснований.

Хотя подобные рассуждения — все-таки перебор.

Председатель Совета британских мечетей, доктор Зебеди Хассан (в родстве не состоит) утверждает, что Энгин предал свою религию дважды: во-первых, терактами, во-вторых, достойной слабоумного массово-информационной карьерой. Справедливо подмечено, Зеб. Но можно было бы

предположить также, что Аллах, возрадовавшись при виде Энгина, решил использовать столь благодатный материал, находящийся в его распоряжении, в качестве примера и предостережения прочим, не чуждым сходных пристрастий. Это так, в голову пришло.

И, кстати сказать, не ждите объяснений насчет того, что же довело Энгина до терроризма, помимо общечеловеческих причин, глубокой, всеобъемлющей глупости и удобного жизненного кредо. Да, конечно, детство Энгина было бурным, кочевым, прошло в переездах из гостиницы в гостиницу (его отец работал официантом), из страны в страну. Озеро Ван, Анкара, Бодрум, Эр-Рияд, Абу-Даби, Джакарта — много тысяч миль пришлось проделать семейству Хассанов в этих странствиях. Мистер Хассан-старший завершил свою карьеру в сфере обслуживания в 1989 году, поступив — да, пожалуй, тут у Хассанов имеет место некая генетическая предрасположенность — в бейрутский отель «Интерконтиненталь». Но подорвать, заметим, никто никого не пытался.

Нет, не время сейчас подвергать психоанализу личность мистера Энгина Хассана. Поверьте, не стоит игра свеч.

Опять-таки, я не случайно отмел любые рассуж-

дения о нравственных аналогиях между двумя разными вещами: насмерть калечить людей и участвовать в телепередачах. Нет тут, разумеется, никаких нравственных аналогий. Жизнь стала бы намного лучше, если бы всех террористов-самоубийц удалось уговорить оставить в покое взрывчатку и устремиться в гримерные. В конце концов, нас ведь никто не заставлял бы смотреть, что они там делают, эти сволочи.

В общем, по словам команды дорогостоящих юристов, поверенных и адвокатов, у Энгина имелись всего две возможные линии защиты. Первая: Энгин ни на что не способен до такой степени, что его практически можно считать ненормальным, не поддающимся обучению дебилом с задержанным развитием — после этого ему оставалось бы только уповать на милость правосудия. Второй вариант подразумевал, что Энгин, по сути дела, на дух не переносит насилия и потому-то, проявив поразительные самообладание и интеллект, раз за разом совершенно сознательно саботировал свои собственные террористические попытки, спасши таким образом жизни множества ни в чем не повинных людей. Взвесив оба тезиса, адвокат Энгина, мистер Гольдберг, решил, что у первого плана больше

шансов на успех — хотя бы потому, что Энгину в какой-то момент придется выступать в качестве свидетеля, а это явно послужит аргументом в пользу теории номер один, одновременно опровергнув теорию номер два.

Надо признать, стратегия эта в какой-то мере сработала. Как не несущий полной ответственности за свои поступки, Энгин не признал себя виновным, но, правда, был все же осужден присяжными, то есть судом равных (англичан, христиан, неверных).

В заключительной речи господин судья, мистер Кориоланус Муркок, говорил так:

— Суду были неоднократно и с лихвой представлены доказательства того, что вы, Энгин Хассан — абсолютный идиот, человек, способный на действия неописуемой, поражающей воображение глупости — и притом регулярные. Одиннадцать предпринятых вами — как в стране, так и за ее пределами — умышленных попыток убийства, направленных во всей их непоследовательности на обострение обстановки якобы во имя Аллаха, привели в конечном счете к смерти одного мирного жителя — вахтера галереи изобразительных искусств, мисс Табиты Фёрнисс, а также (в результате особенно чудовищного, даже

по вашим собственным меркам, просчета) сорока двух членов так называемой революционной исламской ячейки, к которой принадлежите и вы. Есть мнение, что, даже сотрудничая с ЦРУ или с нашими британскими разведывательными службами, вы вряд ли смогли бы внести большее смятение в ряды тех самых кровожадных фундаменталистов-магометан, в самоотверженной верности которым вы поклялись и во власть которых отдались — трагическая ошибка с вашей стороны. Вы, вне всякого сомнения, абсолютно бесполезны в данном качестве — безмозглый террорист, лишенный даже простейшего, рудиментарного хитроумия, предвидения или, как здесь уместно было бы отметить, везения.

— Все вышесказанное ни на йоту не отрицает сущности ваших намерений — каковые, безусловно и недвусмысленно, являлись пагубными. Но при этом возникает ряд важных вопросов, как то: способны ли вы осознать те наиболее базовые моральные принципы, которые лежат в основе простых на первый взгляд понятий добра и зла. Подобное невежество, разумеется, не может быть аргументом защиты против приговора. Однако смягчающим обстоятельством считать его можно.

— Энгин Хассан, по желанию Ее Величества приговариваю вас к четырем годам лишения свободы на основании действий, повлекших за собой смерть мисс Фёрнисс, а также за покушение на жизнь всех этих евреев. По обвинению в нарушении правил дорожного движения в городе Лондоне вы приговариваетесь к уплате штрафа в размере семидесяти фунтов, с заменой на дополнительные двенадцать суток заключения.

— Остается надеяться, мистер Хассан, что вы используете проведенное в заключении время на обдумывание ваших проступков и сделаете соответствующие твердые выводы касательно вашей уму непостижимой неприспособленности к международной исламской террористической деятельности, независимо от того, будете ли вы продолжать поддерживать в душе то недостойное дело, которому до сих пор столь бездарно служили.

— Благодарю вас. Ваша честь, — больше сказать Энгину было нечего. На этом его забрали в Белмарш.

У Энгина есть такая манера: когда его показывают по ТВ, он выбегает на передний план, глядя в зрительный зал, расстегивает пиджак, широко его распахивает и орет: «БА-БАХ!», а затем, под

завывания публики, поворачивается к камере и, подмигнув, спокойно произносит: «Не волнуйтесь — шутка».

Эта сценка всегда проходит на ура. Идею подал мистер Стернберг и, надо сказать, не промахнулся: ни разу еще не обошлось без взрыва хохота. Он, конечно, повторяет трюк и сейчас, когда Парки представляет его зрителям. Зал, как обычно, падает, а Парки вынужден усмехнуться вместе со всеми и сказать еще раз: «Леди и джентльмены, *мистер* Энгин Хассан». Затем Парки встает, жмет Энгину руку и жестом предлагает ему сесть, что тот и делает с эдакой самоуничижительной улыбочкой, попутно одергивая на себе костюм и ерзая в кожаном кресле, стараясь устроиться поудобнее.

— Итак, — начинает Парки, держа на колене блокнот, — после попыток отправить нас всех на небеса…

— Что вы, Майкл, я ничего не имею против вас лично!

— Отрадно слышать. И все-таки, после всего сделанного — как вам нравится новая жизнь, так сказать, во вражеском тылу?

Энгин смеется:

— Ну, я могу сказать, Майкл — тыл весьма об-

ширный.

(Зрители хихикают.)

— Нет, серьезно… послушайте, Энгин… эти люди, только что приветствовавшие ваш выход аплодисментами — те самые, кого вы три года назад готовы были убить. Вам все еще этого хочется? — спрашивает Парки.

Энгин напускает на себя смущенный, кающийся вид.

— Если серьезно… ну, как вам известно, я по-прежнему правоверный мусульманин. А это требует от меня каких-то, э-э-э, взглядов и обязательств. Но надо сказать, я с тех пор, как вышел из тюрьмы, начал испытывать к британцам какие-то дружеские, товарищеские чувства. Даже, пожалуй, родственные. Знаете, люди ко мне стали необычайно хорошо относиться. И я очень благодарен им, всем вместе и каждому в отдельности.

(Зрители тихонько аплодируют этим громким дифирамбам в свой адрес.)

Парки снисходительно улыбается и говорит:

— Так, значит, на ближайшее время у вас нет планов с нами покончить?

(Зрители ухмыляются себе под нос.)

Внезапно Энгин чувствует, как жуткая тяжесть

давит мертвым грузом ему на живот — будто его туго опоясывает сосредоточившаяся там тревога. Вид у него делается растерянный, но лишь на какое-то мгновение. К счастью, теперь он, по его собственному утверждению, стал ветераном сцены, так что ему сразу удается взять себя в руки. Удивительно, до чего легко овладеваешь искусством пустопорожней болтовни.

— Кто знает, кто знает. Если такова будет воля Аллаха… — говорит он.

(Зрители все дружно давятся в продолжительном припадке буйного смеха.)

— Вообще-то, Энгин, — продолжает Парки, — о чем бы мне действительно хотелось побеседовать, так это о неудачах — ибо, что ни говори, знамениты вы именно этим: своими провалами. Провалами, если можно так выразиться, совершенно колоссальных масштабов. И тем не менее, вас здесь, можно сказать, чествуют… вы у нас почти народный герой!

Эта тема так близка и понятна Энгину — он каждый день задает себе тот же вопрос. Вопрос, который его посетители тоже, кстати, ему задавали.

— Я думаю, Майкл, дело тут в простых человеческих чувствах — в чувствах, которые мы все

испытываем. Мы постоянно, ежедневно стремимся к успеху, но слабость наша, ужасная слабость берет свое. Мы не хозяева собственным мыслям и телу. Мы не дотягиваем до канонов, нами же и установленных. Слаб человек! Почти у всех у нас в жизни есть одна постоянная вещь — неудача. Поэтому, я думаю, когда мы встречаем человека вроде меня, который пытается достичь цели и всякий раз проваливается, это вызывает у нас уверенность и сочувствие…

— А вам не кажется, что мы все просто смеемся над вами, — с улыбкой спрашивает Парки, — над вашей полнейшей безмозглостью?

Энгин чувствует, как кресло вместе с опорой начинает раскачиваться, словно подвешенное на канатах к ветвям высокого дерева. Что-то по-прежнему охватывает его живот, все туже и туже. Это ощущение он не может объяснить ни зрителям, ни даже приятному мистеру Паркинсону. Ответно улыбнувшись в расчете выиграть время, он думает: а зачем ему вообще это надо — выигрывать время?

Выпить они не хотят. По правде говоря, его жизнерадостное предложение не производит на них особо благоприятного впечатления.

Скорее наоборот. Тарик, откинувшись назад в

гостиничном кресле, оценивающе оглядывает своего подопечного.

— Энгин, — говорит он, — ты хоть понимаешь, что делаешь?

Энгин изображает на лице подавленное, унылое выражение. Если честно, он не всегда до конца понимает, что делает.

— В каком смысле? — спрашивает он у Тарика, в замешательстве ерзая на кровати.

— В каком смысле, Энгин? В том смысле, что ты играешь роль деревенского дурачка в этих безбожных, пустых, бессмысленных телевизионных программах! Кто такой, кстати, Грэм Нортон?

Энгин произносит:

— А, да просто очередное ток-шоу.

Бывают случаи, когда лучше особенно не вдаваться в детали. Тарик никогда не был в большом восторге от содомитов, да и по поводу доктора Абу Афшин аль Анвар Магомета у Энгина имеются сомнения — вряд ли он испытывает к ним намного более теплые чувства.

Тарик грустно кивает.

— Разве ты не видишь, во что ты превратился, Энгин? — Тарик наклоняется вперед в своем кресле.

Таким Энгин его никогда прежде не видел.

От этих заклинаний на душе делается ох как неспокойно.

— Во что, Тарик?

— В ручного дебила, которого использует западное империалистическое общество, это скопище неверных! Ты совершил фиск[29] и потому являешься закоренелым фасиком[30], отступившимся от Ислама. Вспомни, Энгин, слова Аллаха, мир Ему: «А если кто из вас не примет ниспосланное Аллахом, тот — фасик, неверный мятежник». Или, может, ты заалим, что ничуть не лучше.

— Надо же человеку на жизнь как-то зарабатывать, — пытается вывернуться Энгин. — Особенно после тюрьмы.

— Но не в «Раздевалке» же! Как такое понимать прикажешь? Сюсюкать с этой ухмыляющейся — рот до ушей — шотландской шлюхой, Кэрол Смилли! — Тарик плюет, охваченный отвращением.

— Она на самом деле очень приятная, Кэрол Смилли, — без особого энтузиазма говорит Энтин.

Доселе молчавший доктор Абу Афшин аль Ан-

---

[29] Примечания: 29

Фиск *(араб.)* — беспутство, порочный поступок.

[30] Примечания: 30

Фасик *(араб.)* — неверный, грешник.

вар Магомет внезапно издает рык, способный кого угодно привести в замешательство.

— Признавайся: пил из чаши греха, что носит она меж ног своих? — требует он отчета у Энгина.

— Что? Нет! Нет, нет, нет! Не пил, — добавляет тот с легким сожалением.

— Энгин, — продолжает увещевать Тарик, — ты разве не понимаешь, какой вред своим бездумным потворством и заигрыванием наносишь нашему делу — делу Аллаха, делу палестинских и чеченских братьев, людей, которые здесь, вот в этой стране, борются несмотря ни на что за свою веру. Ты разве не видишь, как каждое твое идиотское появление на телевидении принижает все то, к чему мы всеми силами стремимся?

Энгин выпрямляется на кровати. Нет, они неправы! Тарик слишком долго просидел в своих пещерах.

— Нет, — уверенно заявляет он, — совсем наоборот. Вместо враждебного, непримиримого и во многом чуждого, отталкивающего образа Ислама они видят меня — маленького безмозглого толстяка. Во мне они узнают собственные черты. Я ведь, как ты изволил выразиться, Тарик, урод безмозглый. Это мне и самому ясно стало за

последние три года; ясно и то, что я практически ничего не могу с этим поделать. Поэтому, когда я появляюсь перед зрителями, то, за что я боролся, начинает им казаться гораздо ближе и привлекательнее. Людям становится понятно, что даже наша славная, несгибаемая вера не отвергает несовершенных.

Для Энгина это — целая речь. Он почти обессилел от своего выступления. Но дошел ли до них его смысл? Непонятно.

— Полнейшая белиберда, это самовыгораживание, — произносит доктор Абу Афшин аль Анвар Магомет.

— Ну, не знаю, — поправляет своего коллегу Тарик, — в такой самонадеянности что-то есть. И все было бы ничего, если бы они смеялись только над тобой, Энгин. Но это не так. Ибо те операции, в которых ты так по-идиотски участвовал, не были твоими деяниями — этих деяний требовал Аллах. Когда ты ехал на машине в галерею, когда рассылал бомбы в посылках и так далее, и тому подобное — твое бренное тело было лишь орудием Аллаха. Понимаешь, о чем я?

— Да, — добавляет доктор Абу Афшин аль Анвар Магомет, — и потому, когда ты выступаешь по телевизору с дурацкими шутками на эту тему,

зрители-безбожники хихикают не только над Энгином Хассаном. Ты одновременно и Аллаха выставляешь каким-то мудаком. А так, скажу тебе прямо, дело не пойдет.

Разговор что-то не клеится, думает Энгин.

— Но по счастью, — говорит Тарик, с удовольствием наливая себе «Бритвика» из мини-бара, — Аллах велик в своем всепрощении! Он все понимает! Невероятно, но Он простил тебя! Он простил тебе и это дело с картинной галереей, и отправленные не туда посылки с бомбами, и даже тот провал с сибирской язвой Он тебе простил! — Тарик делает секундную паузу.

— Кстати, зачем ты держал вирус в той банке, на ней же ясно было написано: «Кофе-мэйт», а потом поставил ее же обратно в кухонный шкаф?

Лежа на кровати со слегка надутым видом, Энгин отвечает:

— У меня в тот момент больше ничего под рукой не было…

— Сорок два человека, Энгин!

— Да знаю я. Кошмарный случай. Я правда очень глубоко сожалею. Это была ошибка.

Энгин вздрагивает. Ужасный сухой, раздирающий кашель; страшная, со вкраплениями крови мокрота. Именно тот просчет и стал для его хо-

зяев — включая наиболее влиятельного из них, Тарика — убедительной причиной перевести его как можно скорее в отдел самоубийц. Они сделали все, что было в их силах, для его немедленной отправки в Лондон.

— Да, Энгин, действительно, очень большая ошибка. Но Аллах простил тебе даже это.

В настоящий момент Аллах, кажется, пребывает в необычайно всепрощающем настроении, думает Энгин. Если его вдруг так потянуло на прощение, тогда что здесь делают Тарик и доктор Абу Афшин аль Анвар Магомет? Что-то непохоже, чтобы они собирались кого-нибудь прощать.

В общем, лучше ему об этом не думать.

— Мы беседовали с твоим агентом, Энгин, — тихо говорит Тарик.

— С этим надутым евреем Стернбергом — да ослепит его Аллах и пошлет ему нарывы в области паха, — спешит пояснить доктор Абу Афшин аль Анвар Магомет.

— Скажи мне, Энгин, тебе это все разве не надоело своей заурядностью? — спрашивает Тарик.

К сожалению, скорее уж он сам надоел «этому всему», думает Энгин. Последнее время поток приглашений на телевидение начал слегка иссякать. Но в ответе его слышится глубокое,

непреходящее убеждение:

— Я, Тарик, сам человек заурядный.

— Да, — соглашается его старый наставник, — это безусловно. Ты и вправду человек весьма и весьма заурядный. Но у Аллаха даже для самого зауряднейшего из нас есть время, а также предназначение. Что, по-твоему, лучше: их краткая, смешанная с презрением любовь или вечные ненависть, страх и уважение?

Энгин молчит. Не зная, что сказать, он опускает глаза, глядит на свои ступни и шевелит пальцами ног.

— Поразмысли пока об этом, — говорит Тарик. — Да, ты не против, если я себе еще «Бритвика» налью?

— Скорее, скорее: покончить с этим, и все…

Энгин бежит изо всех сил, насколько позволяют его короткие пухлые ножки. Вообще-то быстрым бегом это отнюдь не назовешь. Тяжело дыша от усилий, он уворачивается от недовольных пешеходов, огибает людей, вышедших в магазин, под градом ругательств неуклюже перебегает запруженные машинами улицы. Топ-топ-топ, раздаются его грузные шаги. Земное тяготение душит его, навалившись со всей жестокостью.

Он конечно же направляется к дому бедной

миссис Азиз.

Бог ты мой! Интересно, способен ли Аллах распознать чистосердечную ошибку, совершенную с искренней верой в душе? Хочется надеяться, что да.

Вот и улица, где живет миссис Азиз: череда вполне представительных четырехэтажных зданий в регентском стиле с воткнутыми там и сям уродливыми многоквартирными муниципальными домами довоенной постройки. Странно, но атмосфера тут гораздо спокойнее, чем он воображал; все выглядит вполне обыденно. Ни сдерживающих толпу полицейских, ни языков пламени, рвущихся лизнуть серое небо, ни «скорых», выстроившихся наготове в ожидании обгоревших, задыхающихся и погибших. Только движение на улице монотонно громыхает, как водится, да молодежь из муниципальных кварталов расслабляется, привалившись к стене измаильского общественного центра.

Может, идиотский чешский детонатор действительно не сработал? Или, может, взрывчатка попалась никудышная. Ощутив легкое покалывание надежды — редкое, замечательное чувство, — он с готовностью хватается за эту соломинку.

Впереди квартал миссис Азиз; смотрите — абсолютно не пострадал! По крайней мере, думает он, отсюда так кажется. Мучаясь одышкой, он взбегает по мрачной бетонной лестнице и сворачивает влево, на ее площадку.

Входная дверь по-прежнему на месте! Слава Богу, слава Богу, миссис Азиз!

Он стучит как безумный, подпрыгивая от нетерпения. Скорее, миссис Азиз, скорее! Ему едва удается подавить искушение заглянуть в щель почтового ящика, да и то лишь потому, что из коридора — не может быть! — доносятся шаги. Значит, ноги ей не оторвало. Если, конечно, она не успела за такое короткое время освоить протезы.

Дверь открывается.

Перед ним стоит совершенно невредимая миссис Азиз, явно не ожидавшая его объятий и, более того, не жаждущая их. Ее птичьи глазки сужаются.

— А ну, отцепись от меня, — говорит она, раздраженно высвобождаясь, — обормот толстопузый.

— Я просто так рад, что вы живы, миссис Азиз, — задыхается Энгин, наконец отпустив ее и вглядываясь в коридор квартиры за ее спиной.

— Жива, конечно, чурбан ты турецкий, — плю-

ется старуха.

— Хорошо, а с рыбой вы что сделали? — выпаливает он.

— С какой такой рыбой?

— Вы же просили принести рыбы сегодня утром. Палтуса, — старается он объяснить как можно спокойнее.

— Ах да, — говорит она, чуть просветлев лицом. — Палтус. Извини. Забыла на секунду, что палтус — это рыба такая. Совсем старею.

— Да-да, но где же она?

— Энгин, — наконец выдает старуха, — ничего я тебя не просила принести, ни палтуса, ни другой рыбы. Я сама прекрасно могу сходить себе за палтусом. А сегодня мне вообще никакой рыбы не нужно было.

— Но… но как же… — Слова застревают у Энгина в горле.

— Нет, Энгин. И платить я тебе не собираюсь — даже и не думай.

Энгин вне себя от негодования.

— Ну, так где же она?

— Попросила кое-кого обратно в лавку ее отнести.

— Кого? Кого? — взвизгивает Энгин.

— Эту шлюху раскрашенную, индуску из хим-

чистки, она мне как раз паранджу занесла.

— Не-е-е-е-е-ет! — Энгин издает длинный вопль. — Только не Касси!

— Не знаю и знать не хочу, как ее зовут. Знаю одно: скромности ей недостает. Я так считаю: губы у этой девицы порочные, такими только отсасывать.

— У-у-у-у. — Тут Энгин принимается кружить по площадке.

Миссис Азиз подзывает его к себе. Она улыбается ему, крепко берет его обеими руками за голову и принимается трясти ее из стороны в сторону, словно просеивая муку в очень тяжелом сите.

— Послушай-ка, толстопузик, — говорит она. — Хватит переживать о всякой рыбе и об индусских поблядушках. Шел бы лучше евреев убивать, как подобает мужчине.

Обливаясь слезами уже третий раз за сегодняшний день, Энгин вырывается и убегает по лестнице. Голос миссис Азиз, какой-то задушенный, безумный вой, преследует его, не отставая ни на шаг.

— Интифада! Интифада! Да покраснеют улицы городов и деревень от крови грязных еврейских собакузурпаторов и их хозяев янки. Всех замочи-и-и-и-и-ить!

Что ни говори, а миссис Азиз — крепкий орешек.

Ох, до чего Энгин устал бежать. Говоря начистоту, его тело просто не создано для этого занятия. К тому же, как нетрудно догадаться, он совершенно изможден, морально и физически, после такого бурного денька. Он возвращается на центральную улицу. Не в полной мере полагаясь на свои органы чувств, каким-то потусторонним чутьем он вроде бы улавливает запах дыма и звуки сирен. Но как бы то ни было, центром всех этих дел никак не может быть химчистка — вот же она, прямо перед ним. Готовый на этот раз ко всему, он чеканным шагом подходит к прилавку. Но, разумеется, в нашей истории есть симметрия, которую невозможно нарушить, не посягнув на неизбежность развязки.

— Здравствуйте, мистер Шах.

— Здравствуй, Энгин.

— Не знаете, где Касси?

— Да она вышла с полчаса назад, какую-то тухлую рыбу в лавку вернуть.

— А, понятно. Мистер Шах…

— Что, Энгин?

— Вы ничего особенного не чувствуете? Ну, запах дыма там, звуки сирен?

Перегнувшись через прилавок, мистер Шах наклоняет голову набок.

— Да, Энгин, пожалуй, что чувствую.

— Спасибо, мистер Шах.

— До свиданья, Энгин.

Все еще пребывая в этом измочаленном, непонимающем, оцепенелом состоянии, чуть поодаль на главной улице он сталкивается с Касси Шах, которая торопится обратно в химчистку. Все ее конечности целы и невредимы.

— Где рыба, Касси?

— Я ее отнесла рыбнику, а они…

— Да-да, — говорит Энгин с невыразимой усталостью в голосе.

— …а они сказали, что обратно не возьмут. Даже смотреть не стали…

— И тогда ты…

— И тогда я ее оставила…

— Где?

— …у тебя под дверью. Я же знаю, ты палтуса любишь.

А-а-а-а-а-а, так вот откуда доносились запах дыма и звуки сирен! Вот где стоят наготове «скорые» в ожидании искалеченных, умирающих и погибших. Бомба взорвалась у Энгина дома! Тому, кто верует, впору задуматься, а есть ли Бог,

в конце концов.

Чуть погодя Энгин стоит у границы полицейского кордона, наблюдая, как горит его квартира. Каким же надо быть террористом, чтобы свой собственный дом подорвать, а, Энгин? Дерьмовым, каким-каким. Струи серебристой воды вырываются из огромных шлангов и разбрызгиваются по стенам, вверх-вниз. Дым делается все чернее и чернее. Стоящие группкой любители макабра, которым повезло наткнуться на такое развлечение, что-то обеспокоенно бормочут друг другу, а потом отходят назад, подальше от вони, дыма и жара. Но Энгин остается, где стоял.

Обугленные ошметки имущества Энгина, всплыв, начинают удаляться, все выше уносимые горячими потоками воздуха, пока не превращаются в темные пятнышки и не пропадают из виду. Энгин поднимает взгляд к небесам. Момент прозрения, однако, не наступает. Не подумайте только, что он сожалеет о совершенном деянии — о нет, он сожалеет лишь о том, *где* его совершил, то есть, горячо сожалеет о том, что взорвал собственный дом. Он не застывает, как громом пораженный, в глубоком созерцании, не размышляет о своем низвержении в пучину зла — чего нет, того нет.

А затем он, благодарение Богу, теряет сознание.

Вы просто не поверите, в какие рекордно короткие сроки уложились все известные миру террористические группировки со своими официальными заявлениями, где наотрез отрицалась любая ответственность за это бестолковое нападение.

С головой Парки происходит что-то странное. Она растет и как бы разглаживается, исчезают все морщины и складки… Энгин пытается отвернуться и сосредоточиться на вопросе, но не может его вспомнить. Ему слышно, как зрители с растущим нетерпением перешептываются между собой. Ты же ветеран сцены, Энгин, что ж ты нас подводишь, ну давай, скажи чего-нибудь.

Но Энгина ничего не интересует, только это раскачивание пола под креслом да краем глаза ухваченная картинка: голова Парки странным образом видоизменяется и плывет к нему по воздуху наподобие воздушного шарика, порожденного чьим-то больным воображением.

Еще раньше, в гримерной, он думал, что принял решение. Но на самом деле принятие решений дается Энгину с трудом, а их выполнение и подавно. Он швырнул ремень в угол. («Это специальный

ремень, Энгин. Не для того, чтоб дорогие брюки поддерживать, — сказал Тарик. — Его носят обернутым вокруг пояса под рубашкой».) Потом опять поднял. Что делать? Тупиковая ситуация, когда разрываешься между одинаково приятными перспективами: насмешить группу людей или взорвать их ко всем чертям.

— Твой выход, Энгин, — сказал Тарик в гостинице перед тем, как приехал шикарный лимузин. — Ты и Аллах. Не будь фасиком. Или заалимом.

Но как-то непохоже, чтоб Аллах ему сильно помог в этом затруднительном положении. А ведь он с благодарностью принял бы любой совет.

Пол под ним продолжает медленно поворачиваться на своей оси. Он чувствует, как Парки похлопывает его по колену, справляясь, все ли у него в порядке.

Нет, думает он. Честно говоря, Парки, не совсем.

Он снова поднимает глаза на плывущую по воздуху голову. Только какая же это голова? Прежде всего, у нее ни глаз, ни ушей. Но зато, как он замечает, имеется странный, маленький и благоуханный, изящный рот. Что это, отвлеченно гадает он, что это за неземное создание, движу-

щееся в поле его зрения?

А-а-а-а-а. Вот оно что. Теперь он понимает. С самого начала должен был бы догадаться. Благодарю Тебя, Аллах, благодарю!

Ведь эта парящая ему навстречу штука, притягивающая его все ближе и ближе, — анус девы небесной, коричневато-рыжий, весь в складочках. Сфинктер то сокращается, то расширяется и все шепчет, шепчет ему: «Энгин! Энгин! Мы ждем, мы ждем. Вот тут, совсем близко, видишь? Приди… приди… приди…»

Энгин вздыхает, как это с ним обычно бывает в подобных случаях. Он немного грустен, полон решимости, но грустен. Ох, думает он растерянно, надеюсь, правильно поступаю.

Откинувшись на спинку кресла, он сует руку в карман своего дорогого пиджака и крепко зажмуривает глаза — в самый последний раз.

(Необходимые для написания этого рассказа вдохновение и религиозная поддержка были почерпнуты из работы «Правление Аллаха на земле. Всецело во власти Аллаха», автор — Шейх Абу Хамза аль Мазри, ноябрь 2001, заказ через группу «Сторонники Шариата», Финсбери-парк, Лондон.)